

Михаил Блехман

Субъективный реализм

Рассказы и повести

Потом

Останусь?

Да нет, уже нужно идти...

Идти и думать: кто же этот глупец, бессмертный, как сама глупость?...

Ноет простуженная поясница. Ноги почти не несут — гудят в проклятых туфлях...

Всё-таки останусь, посижу на нашей с ним скамейке. С некоторых пор нас здесь осталось вдвое меньше, чем в те давние времена. Как не улыбнуться собственным арифметическим способностям, ну не молодчина ли я? Разделились два надвое, в остатке получается один и одна... Есть он, есть я, — но всё равно это — ровно вдвое меньше, чем было тогда, вначале.

Почерневшие, отвислые щёки полуночного неба усеяны блёклыми, кое-где розово-прыщеватыми крапинками. И в этом небе отражается наше высыхающее озеро — бездонный водоём раздражённо швыряемых друг в друга пресных слов.

Останусь. Бесплезно и бессмысленно

уходить отсюда, с этой скамьи, пусть и давно задеревеневшей, от этого озера, пусть и давно охладевшего, — от этого озера, в котором нет числа остывшим кусочкам золы, невесть когда бывшим угольками...

Сама знаю — не останусь, всё равно ведь встану и пойду — к нашим четырём стенам, побитым горохом упрёков, обид и обвинений. К разбитым горшкам незаживающих обвинений, к ядовитым черепкам колющей иронии. Добра наживать оказалось даже проще, чем предполагалось, — вот только хорошо, что у нас нет кур: было бы грустно видеть, как они отказываются клевать эти легко нажитые золотые полушки, разбросанные повсюду — по двору, у озера, в за мке.

Пойду, чтобы снова перебирать больными ногами в холодных туфлях всё по той же шершавой лестнице, словно белая детская халва зачерствевшей с тех пор, как исчерпалось подобие моего детства. Чёрствая халва — неужели по ней удавалось бегать?

Когда-то он, ожидая моей восхищённой благодарности, взлетел выше птичьего полёта, но оттуда меня невозможно не то что разглядеть, а хотя бы заметить, — так чему же восхищаться и за что благодарить?

Полетать, что ли, и мне — мне ведь по

чину, — чтобы с высоты полёта тех же птиц не замечать опостылевших мелочей? Увы, небо занято, двоим в нём можно лишь разминуться. Да и мелочей — всего нашего добра — нажито столько, что ничего другого, кажется, уже и не осталось. А добро всё наживается и наживается, не переставая...

— ...где же ты, наконец?

Кто из нас это спросил? Нет, не спросил, а сперва, давным-давно, раздражённо бросил, потом равнодушно заметил, потом устало зевнул...

Если неясно, кто, значит — оба?

— ...сколько можно собираться?

Кто это говорит — он или я? Даже разминуться уже не удаётся.

— ...ну, где же ты?

Ключевой вопрос. Точно ключ, не подошедший к замку между нами, между ним и мной. Будто замок, не подошедший разделённым надвое двоим.

Я задаю себе этот вопрос по тысяче раз на день. Я кручу и верчу его, но он послушно и безвольно прокручивается в запершем каждого из нас заржавевшем замке, бессильный отпереть огромный тесный замок.

Я смотрю в зеркало — не столько чтобы посмотреться, сколько чтобы увидеть себя, ведь где же ещё я могу себя увидеть? Если я где-то и

осталась, то лишь в зеркале, а везде, кроме зеркала, разве это — я?

— ...ты идёшь? Все собрались и ждут.

Уверены ли они, что ждут — меня? Знают ли они моё имя? Помнят ли, как меня звали?

— Ваше величество, позвольте объявить о вашем выходе?...

Позволю, конечно, как не позволить. А вы, взамен, позволили бы мне понять — куда и зачем я исчезла? А когда — я и сама помню...

Ведь и в зеркале — не я. Смотрю, ищу — не нахожу.

Вглядываюсь, выглядываю — но не вижу. Даже в зеркале.

Под окном — развалившаяся телега, кажется, бывшая когда-то парадным экипажем. Усатый кучер спит рядом с вечной миской недоеденной тыквенной каши. Шестеро остромордых, узкохвостых лошадей разбрелись кто куда. Слуги в ливреях цвела отхлеставшего кусты дождя, затёртых, как мои непонятно к кому обращённые просьбы, храпят в лакейской. Спят все, кто решил не приходить ко мне из моего детства. Спят, как будто и не бодрствовали никогда. Как будто их всего-навсего придумал тот самый глупец — вечный, как самоё глупость.

Всё и все — на своём месте, это могло бы успокоить.

Только и нужно для счастья — понять, где же в моей жизни — я? И осталась ли я — после того, как моё детство прекратилось и все, кто в нём у меня был, разбрелись кто куда и уснули.

Поясница жалобно поет после задубевшей скамейки, от бесконечных дворцовых сквозняков...

Хорошо, войду, ведь все собрались, — все, кроме разбредшихся и уснувших.

Я открываю навечно запертую дверь и вхожу в зал. На троне — его бывшее величество, а к нему подходит — чтобы занять место рядом — бывшее моё. Он смотрит на меня и, наверно, да нет, наверняка, думает то же самое: откуда взяться величеству, если величие ушло? Незаметно для других, оно исчезло для нас, друг для друга, а не это ли главное?

Нет, не это. Главное — туфли, самая невыносимая из всех мелочей. Из-за туфель я ненавижу свои ноги даже сильнее, чем постоянно ноющую поясницу. Эти туфли следует обувать сразу после сна и не снимать до следующего, чтобы исходящему от меня очарованию и всеобщему умилённому восхищению не было предела. Мне положено порхать и излучать наивность, серебристо звенеть в ответ на приветствия и заливаться пунцовой краской воплощённой наивности. Собравшиеся призваны прислуживать мне, а я — служить всем им. Её величество служит

своим подданным. Служит недостижимым и потому влекущим примером, воплощением недосыгаемой, но всё же однажды достигнутой, а потому соблазнительной мечты.

Для этого я обязана представлять перед подданными в уже давно тесном, хотя ещё не совсем вылинявшем платье и в мерзких, неуправляемых туфлях. Во время каждого триумфального — они у меня все триумфальные, так положено, — выхода мне полагается по-детски шаловливо щёлкнуть пальчиками, словно очередной каминный уголёк едва слышно треснул, незаметно для подданных превращаясь в золу, после чего устыдиться собственной шаловливости, залиться румянцем и потупить взор.

Щёлкну, зальюсь, потуплю. Я смирилась со всем и со всеми. Приподниму платье до щиколотки, чтобы взойти на трон и чтобы подданные умилились и умиротворённо переглянулись: «Да, это она — та же, необходимая и вечная. Это её ножки — в тех же, неизменных, незаменимых туфельках».

Ритуал заведен, подобно дворцовым часам, бьющим вечно, и вечно — невпопад. А с некоторых пор — наотмашь.

Значит, пусть мои ноги остаются для подданных ножками, и пусть подданные не слышат, как невыносимо эти ноги гудят.

Подданные уверены, что это — я.

Что это я — восхожу на трон, подставляю руку для королевского поцелуя, заливаюсь серебристым колокольчиком и румянцем.

Они не заметили тыквы, валяющейся под окнами дворца? Ну, что ж, пусть будет так, пусть они, на своё счастье, не замечают того, что потеряло важность, — так как же, я не замечаю себя в зеркале.

Пусть ноги остаются ножками, а ненавистные туфли — туфельками.

И пусть мне никогда не узнать, какой глупец, бессмертный, как самоё глупость, выдумал эти туфли и подговорил старую недобрую фею надеть их на мои гудящие ноги.

Эти по-жабьи холодные и скользкие туфли.

Эти сказочные туфельки из хрусталя.

Все

Повесть без эпиграфа

— Между «ё» и «е» так же мало общего, как, скажем, между «р» и «г» или между твёрдым и мягким знаками.

— Разве это эпиграф? Это — констатация факта, хотя и важного. Я же сказал: повесть без

1

Говорят, первая фраза — самая трудная.

Спрошу у того, кто вроде бы знает.

Заодно попрошу его не выдумывать для меня имя, а то, кажется, он начал изменять своей привычке. В предыдущей повести, во всяком случае, изменил.

«Ты просишь об этом, как о милостыни. А что касается якобы «предыдущей» повести, то повесть предыдущей быть не может. Последней — да, но не предыдущей». Они все — настоящие, кроме, разумеется, ненастоящих.

Я пожал плечами:

Если есть выбор — какая же тут милостыня? Это просто подарок или, в крайнем случае, одолжение. Вот если выбора нет, тогда, увы, — милостыня.

Сарай тускло сиял огнями. Сиять у него всё ещё получалось, хотя уже с трудом. Последнее время сиялось не так, как поначалу. Говорят, поначалу всё вообще было намного ярче, отсюда и сияние. Все всегда говорят, что раньше всё было ярче. Да и вообще — было. Сейчас уже не проверить, было-то — давным-давно...

А как насчёт первой фразы — она

действительно самая трудная?

Теперь пожал плечами он:

«Зачем разделять рассказ на фразы? Тебе ли не знать, что рассказ — это одна сплошная фраза».

Тем более повесть, — не возражал я.

Он согласился и возразил одновременно, за нас обоих:

«Это зависит от повести. Впрочем, от рассказа — в меньшей степени. Иногда рассказ сам собой рассыпается на фразы, и тогда первую не отличить от последней. Да и как отличишь друг от друга части, не составляющие целого?»

Мы помолчали.

Итак, — прервал я молчание, — я пойду? Ты ведь настаиваешь, не так ли?

Он всплеснул руками:

«Настаиваю на твоём собственном решении?»

Я вздохнул и пошёл — выбор ведь действительно был моим собственным. Мы всегда так думаем, если нам кажется, что выбор удачен.

А первую фразу он оставил за собой, вместе с моим именем, которого мне давать не стал. Вместо имени в путь отправился — я.

2

Ну что ж, начну отсюда. Сарай, оставаясь позади, по-прежнему тускло сиял огнями, и они,

эти огни, уходили туда, откуда огней почти не видно.

Совсем не видно, и только ли огней...

Ну да, сарай был без удобств, не отрицаю, и в местах всеобщего пользования отсутствие удобств ощущалось особенно сильно. Зато наш сарай был с видом. И за этот вид все его любили, и в местах всеобщего пользования было много всех. Подчёркиваю: все любили, и всех было много.

За отсутствие же удобств его, наш сарай, недолюбливали, и тоже — все. Да чего уж греха таить — за отсутствие удобств, никак не компенсируемое видом, все сарай не любили. Где есть любовь — там нелюбви самое место.

Идти было нелегко, и чем дальше, тем труднее.

«Впрочем, не следует забегать вперёд».

И всё же что-то мешало идти, с неслышным шумом пролетая мимо меня, туда, где осталась первая фраза, казавшаяся теперь самой лёгкой. И где остались хоть и тусклые, но всё же — огни.

Нелюбимые всеми.

3

Мечты, как выяснилось, бывают совершенно разными, насколько банально ни звучала бы эта фраза и какой бы непервой она ни была.

Хотя, если вдуматься, банальна не сама фраза, а её восприятие. Я оглянулся — и он кивнул, даже, можно сказать, поддакнул. А не ему ли виднее, особенно когда я прав?

Так вот, совершенно разными. Иногда — не столько мечтаешь, сколько идёшь, а иногда не столько идёшь, сколько мечтаешь.

В целом мой сарай мне нравился, он был вполне обихожен. Но — или всё же и — я мечтал отправиться в путь. Возможно, потому, что нравился он мне не более чем в целом, а возможно и потому, что соседний сарай — рукой подать, как милостыню, и этот соседний сарай казался, да и был, таким недостижимо далёким, что не достичь его было выше моих сил.

Хотя поначалу, когда я лишь мечтал о нём, выше моих сил казалось — именно достичь.

Я шёл, не переставая мечтать, и в моих мечтах перемешались два взгляда: один — в тот всё тусклее сверкающий сарай, который остался позади, второй — в маячивший, ярко брезживший впереди. Он, пусть и другой, тоже был сараем, и это было правильно, как правильно всё, чему нет альтернативы.

Я обернулся — но он не кивнул. Очевидно, не был согласен.

Непогодилось. Неизбежная туча то появлялась увесистым фингалом под ярким лимонным глазом,

то ненадолго оставляла глаз и меня в покое. А шум не прекращался, разве что время от времени становился неслышным, особенно когда бежевый закат делал его совсем уж нелепым и неуместным.

Оба сарая стояли (прошедшее время здесь — не более чем литературный приём) в не совсем уже чистом поле, разделённые чем-то с виду непреодолимым. Они казались непостижимо далёкими один от другого, — пусть в глубине души я, возможно, и допускал, что место для приставки выбрано неправильно. Но разве задумываешься о приставке, отправляясь в путь? Разве думаешь о том, что если не обращать внимания на приставку, то зреть в корень окажется невозможным?

Кто ж знал, что корень так зависит от приставки.

Кто вообще знал...

4

Грамматическое время имеет лишь косвенное отношение к реальному. А реальное... Так ли уж оно реально, как кажется?

Что касается прошедшего времени, то оно и вовсе лишено смысла: разве что-нибудь важное — проходит? Время — это не головная боль. В состоянии ли время пройти?

А если нет, то как же оно может быть

прошедшим?

То, что не проходит, прошедшим не становится. Я понял это ещё тогда, в нашем уютном, привычном, никогда не проходящем, не преходящем сарае, и тускнеющий свет не помешал мне понять.

Значительно позже я понял также, что то, что не имело особого смысла в прошлом, приобретает значение в настоящем. При условии, что это прошлое — давным-давно ушедшее.

Бесповоротно прошедшее время. Странно, что в грамматике нет такого времени — Бесповоротное Прошедшее.

Значит, прошедшее время всё же реально... Что-то я запутался в грамматических тонкостях, — а ведь считал грамматику своим коньком.

Вот бы дождаться такого времени, когда времени не будет, ни реального, ни грамматического... Есть ли оно, такое время? Реально ли?

5

В том якобы прошедшем времени не было ничего прошедшего, иначе можно было бы сказать, что в настоящем нет ничего настоящего.

Перья скрипнули во всех распахнутых тетрадах, или это скрипнула, распахнувшись, дверь,

похожая на избела голубой экран. К нам всем вошла первая женщина...

Он перебил меня: попробовал состричь, наверняка ведь зная, что нет ничего тупее надуманной остроты.

У него не сострилось.

— Сарай нерушимый, — сказала наша первая женщина, и все ответили ей утвердительно, общим хором. — Удобства есть, сколько бы иногда ни говорили, что их нет. И вид есть — вот он.

«Ты уверен, что первой была женщина, а не мужчина?»

Я пожал плечами. Разумеется, уверен я не был, но если бы я сказал, что первым был мужчина, вопрос остался бы по сути тем же. Уйти от ответа — самый лёгкий способ уйти от вопроса, да?

В этом непрошедшем времени все пели, держа руки по швам, даже те, у кого швов, кажется, не было, и слушали первую женщину, или первого мужчину, говоривших о том, что сарай нужно любить за бескрайность и необъятность. Я подумал — а может, мне только показалось и я так вообще и не думал, — что, выходит, маленький сарай любить нельзя. Впрочем наш-то — всё равно большой, а значит, сомнение моё чересчур абстрактно и не заслуживает внимания.

— Будущее — за нами, — сказала первая женщина.

Первый мужчина кивнул и подтвердил:

— За нами — будущее.

— А за сараем? — спросилось само собой, и тоже у всех.

— Там, — указала вдаль первая женщина, — там, за сараем, находится безнадежный, бесперспективный, ошибочный по сути и неправильный по форме сарай. Да, с сияющими удобствами, и именно поэтому — без вида. Он тоже большой, но любить его нельзя, несмотря на то, что он тоже большой. А знаете, почему?

Все, как всегда, не спрашивали.

— Потому, — объяснил первый мужчина, — что нельзя любить чуждое, как бы физически велико оно ни было и как бы ярко ни сияло, — а оно сияет. Но чуждое сияние — это не что иное, как худшая разновидность отсутствия сияния.

— Если тот сарай не угомонится в своём кажущемся сиянии, то не исключено, что противостояние сараев закончится плохо для всех, в первую очередь — для сарая, кичащегося своим сиянием.

И все поняли, что своя темнота — это и есть истинное сияние, пусть и тусклое. Все поняли также, что лучше, когда тускло сияет своё, чем ярко сияет чуждое.

Не чужое — чужое иногда тоже сияет, — а именно чуждое. Чужое ведь при желании бывает и

своим, а чуждое своим быть не может.

— Давайте и впредь сараизировать наш сарай, — сказали женщина с мужчиной. — Если же кто-либо из всех не настроен на сараизацию, мы скажем такому с позволения сказать сарайцу:

— Чемодан, вокзал, чуждый нам сарай.

Сараизация продолжалась, несмотря ни на что.

И несмотря ни на что же, наши сараи разделяли непреодолимые, невидимые барьеры.

6

Я шёл незапланированно долго.

И — незапланированно же — что-то мешало идти, с неслышным, мучительным рёвом пролетая мимо меня.

Хотелось, думать, что — мимо...

Я шёл поверх всевозможных невидимых разделов и барьеров, и не переставал мечтать. Вроде бы и в путь уже отправился, а всё равно — мечтал, сам не знаю, зачем.

Мечтал о том, чтобы поле не переставало быть чистым, чтобы наш сарай засиял не тускло, а по-настоящему, чтобы то невидимое, что разделяло сараи, стало бы видимым, и тогда можно было бы решить, что же с ним, этим некогда невидимым, делать: по-прежнему стараться преодолеть или

теперь уже не обращать внимания. И чтобы сарай не пошёл на сарай доказать, кто сияет правильно или, по крайней мере, правильнее. И чтобы новый сарай оказался совсем поблизости, как бы далеко он ни находился.

Преодолевать было хлопотно, не обращать внимания оказывается по-своему сложно, и в не меньшей степени. Всё это — то ли думалось в прошедшем, то ли оказалось в настоящем...

Трудно идти поверх барьеров, в особенности — невидимых.

Но ведь не идти — не намного легче.

Он слегка заметно кивнул.

7

Поэтому в прошедшем, не ставшим прошлым, хотя и преставшим быть настоящим, все мы, сарайцы, до боли, до скрежета и хруста, не любили сияющий неведомо где сарай, о котором никто из всех не знал бы, если бы не первые женщина и мужчина, и если бы не пуговицы.

Пуговицы были в дефиците. Не все разумеется — эка невидаль, — а именно и только эти. Как они постоянно достигали нашего сарая, всем не было известно, и главным сарайцам, в первую очередь начсаром и его немногочисленным (много их быть не могло) сосарайцам, думаю, тоже,

иначе не видать нам сияющих, как тот, неведомый сарай, пуговиц. Не тускло сияющих, а по-настоящему.

Все любили сияющие пуговицы так же сильно, как ненавидели их источник — сияющий издали, неведомый, иной сарай. Обожали их за сияние и никогда даже в мыслях не отпарывали от остальной, такой близкой к телу одежды. Бравирование пуговицами не поощрялось, но все бравировали ими, особенно теми из них, которые не теряли иносарайного сияния даже от длительной носки и в любую погоду. А таких среди иносарайных пуговиц было большинство.

Первая женщина и первый мужчина о пуговицах не упоминали, хотя наверняка в кругу своих семей ими любовались и мысленно — разумеется, мысленно, — ими бравировали.

Невходная — ясно, что она не могла быть входной, — избела голубая дверь в нашем тускло сияющем сарае регулярно открывалась. Входили первый мужчина и первая женщина, застёгнутые на все близкие, понятные нам тускло сияющие пуговицы, и неопровержимо говорили, обращаясь ко всем и указывая, скажем, на мастера допустимого свиста:

— Убедительно просим любить и жаловать: это — мастер допустимо посвистеть.

Сказав, они пристально смотрели на всех, и

все в ответ понимали сказанное и принимали как руководство к действию, а главное — к мыслям и чувствам.

Перья переставали скрипеть, тетрадные листы прекращали шелестеть. Мастер допустимого свиста становился перед всеми, устремлял строгий взгляд поверх не столько барьеров, сколько голов, и, сияя всеми своими пуговицами, возвышенно свистел о насущном, стройный и по-сарайски величественный.

Первая женщина и первый мужчина указывали, скажем, на мастерицу так и быть допустимого свиста и настойчиво сообщали:

— Неопровержимо просим обожать мастерицу почти допустимого свиста.

Все слушались и слушали, и перья снова умолкали, а исписанные конспекты бережно закрывались, но не забывались. Мастерица почти допустимого свиста взвивалась перед всеми, пронзала всех возвышенно раскованными и возвышенно же рискованными взглядами и до восхищённого всеобщего изнеможения свистела о потаённом.

Первые мужчина и женщина знали, когда входить в эту дверь, и поэтому входили строго вовремя, то есть постоянно, и проникновенно глядели на всех.

— Настойчиво просим тайно обожать, —

скажем, обращались они ко всем, — мастера недопустимого, скрытого от непосвящённых свиста.

Все непреодолимо хотели быть посвящёнными. Мастер открытого всем посвящённым свиста сильно и задушевно, с лёгкой, жестковатой небрежинкой насвистывал о скрытом, так что всем, даже, говорят, завсару, становилось всё понятно, тогда как если бы мастер тайного свиста не свистел, понятно не было бы ничего — снова-таки, всем, кроме завсара.

Не успевал он досвистеть, как в распахнутую дверь входил мастер допустимого свиста, за ним, дополняя его, вторгалась мастерица свиста почти допустимого, а мастер недопустимого свиста был допущен свистеть на их фоне, или же свистели на его фоне они. Тем самым свист не прекращался. Сияние тускнело, но свист не прекращался, невзирая ни на тусклость, ни на приближающееся к засилию обилие пуговиц, преодолевших невидимые барьеры.

Бывало, кто-то не объявленный первыми мужчиной и женщиной хотел свистнуть, но первые мужчина с женщиной давали хотящему строгую отповедь:

— Не свисти!

Могли ли все взять и вдруг начать обожать несвистящих? Кто не свистит, тот не может быть

обожаем.

Прошедшее время не имело в этом контексте даже грамматического смысла.

«Ты прав, не имеет. И прекрати оправдываться, тем более — за всех».

8

Когда идёшь неизвестно куда, устаёшь всё-таки больше, чем когда известно, — хотя когда известно — ещё как устаёшь.

Я шёл и думал, почему же я так устал.

Откуда мне было знать, что мне — вовсе даже и не известно?

«Самооправдание ненамного лучше самобичевания, — заметил он. — По сути дела, это одно и то же, ведь полностью самооправдаться тоже никогда не удаётся».

Я кивнул: теперь виднее было не только ему, но и нам обоим.

Шёл долго, времени на раздумья было много, и я не уставал спрашивать себя: зачем решил сменить сарай? Убедить себя на редкость сложно, причём не проще, чем переубедить...

Да, наш сарай сиял тускло, причём тусклость усиливалась и усиливалась, постепенно сходя на нет. Да, удобств, а в особенности главного, не доставало, и чем сильнее была тусклость

уходящего сияния, тем острее ощущалась нехватка удобств. Отсутствие удобств, собственно говоря, было наибольшим неудобством. По сути, единственным, хотя и комплексным.

И всё же, приставал я к себе всё с тем же с вопросом: достаточно ли этих недостатков для того, чтобы решиться изменить своему сараю в пользу другого? Ну хорошо, хорошо, не изменить, а просто — сменить один сарай на другой, — достаточно ли?

9

Звание завсара в нашем сарае из звания превратилось в титул, да и званием-то, если вдуматься, никогда фактически не было. И до звания — нет, всё же титула, — соратникам завсара было не дослужиться. Попробуй — дослужись до титула... Кто-то, в качестве исключения, дослуживался, но далеко не все.

Впрочем, мечтали все совершенно о другом. Не до завсарайства было, говоря по правде. Ну, а когда всем не до завсарайства, оно, завсарайство, неизбежно становится титулом.

Мы с ним кивнули почти дружно.

10

Помню, как я засорбирался в путь.

— Снимки можешь с собой не брать, — сказали мне все. — В новом сарае они тебе не понадобятся, тем более что там, в этом новом сарае, снимки — цветные. Зачем тебе твои?

— Чёрно-белые намного цветнее цветных, — огрызнулся я и взял свои чёрно-белые снимки с собой.

Путь от одного сарая к другому оказался длиннее, чем могло показаться, если мечтать, не выходя за пределы сарая. Всем не мешали мечтать мастера свистов, поэтому за пределы сарая все не выходили. Вот и я мечтал под свист. А когда решился и вышел, путь оказался длиннее и неудобнее всех неудобств, оставленных в том якобы прошедшем времени.

11

Но сильнее всего устаёшь не оттого, что идёшь, а оттого, что мечтаешь. В особенности — если то, о чём мечтал, сбудется. Если сбудется, думаешь: неужели мечтал — об этом? И неужели так устал — из-за, ради этого?

А если мечтать не будешь, всё равно ведь устанешь. Да и не удастся — не мечтать.

В прошедшем времени почти ничего не сбылось, то же, что сбылось, не считается. В настоящем, внезапно переставшем быть будущим

временем и спешащем снова стать прошедшим, мечтаешь обо всём том, что не сбылось, заставляя — да нет, упрасывая всё несбывшееся всё же как-нибудь сбыться.

Я шёл и мечтал, вот только никак не удавалось понять, о чём же мне мечтается.

Ведь мечталось же, так о чём же?

О том, наверно, что там, в том удаляющемся по мере приближения сарае, — ко мне подкрадывается неизвестность, словно шаги украдкой за спиной. Вот приду в него, в совершенно другой, бывший чуждым сарай, и у меня спросят... Что-то же спросят, да?

Или наоборот, сразу же возьмут и скажут что-нибудь своё необычное. Например, скажут:

— Нет сарая, кроме сарая.

И спросят:

— Согласен?

Нет, — мечтал я, — не спросят. А если и там спрашивают, зачем я туда иду?

Вот об этом, наверно, и мечтал.

И ещё мечтал — поначалу — вернуться в сарай, тускнеющие огни которого хорошо виднелись за спиной. Тогда ещё можно было обернуться.

Он усмехнулся:

«Если долго не вступать в реку, она превратится в болото, и второй раз вступить в неё

не удастся».

А я всё равно мечтал. Но об этом ли — не помню...

Не помню, о чём мечталось.

12

Новый сарай — это, в первую очередь — другой запах. Вообще — запах, потому что старый сарай не пахнет, наверно. Да, конечно, новый сарай пахуче сияет огнями, а не тускнеет, если можно так выразиться...

«Нельзя, и ты, надеюсь, это понимаешь».

Ладно, не буду. Так вот, новый сарай сияет огнями, и у него есть удобства, хотя и без вида.

Но главное всё-таки — запах. Я и не подозревал, что будет такой запах, не надеялся даже. А он — был.

Запах — вещь невероятная, — да и не вещь даже, а скорее — событие. Он важнее всего остального.

Вот именно: остального.

Там, в прошедшем времени, самым запомнившимся мне был запах дыхания девушки, в которую я был влюблён...

«Нельзя ли без банальных метафор?»

Банальным становится внезапное исчезновение запаха. Да, не возражаю, после него

остаётся воспоминание, но у воспоминаний — запаха нет...

«Всё зависит от конкретного воспоминания. Сто ящее воспоминание запах вполне даже имеет. Ну, и если бы — предположу невозможное — любовь была взаимной, запаха не было бы. Взаимность развеивает не только иллюзии, но и запахи. Впрочем, запах — это, собственно говоря, одна из иллюзий».

Но от этого воспоминание не перестаёт быть воспоминанием.

А запах — исчезает, и уже больше никогда не появится, сколько ни пытайся воскресить его воспоминанием.

Помнишь, что — был.

«В чём же разница между взаимной любовью и отсутствием любви? В обоих случаях запаха нет».

Вроде бы действительно был.

Не помню, кажется, что-то такое было... А запах ли это — сейчас уже не припомню.

Нет, просто показалось. Откуда ему взяться, особенному запаху?

Да и всё остальное — было ли?

«Не забегай вперёд, давай по порядку. Попробую не перебивать без надобности. Итак?»

Итак, для меня начинался новый год. Это был год смены сараев, а смена сараев — не просто смена, как, например, первая, вторая или даже третья, не говоря уже о смене белья или старинном журнале с тем же вводящим в заблуждение названием. Смена сараев — одна из наиболее загадочных смен, если не самая загадочная. Вроде бы меняешь сарай на сарай, а получается, что сменил старый год на новый.

Новый год — самый невесёлый праздник. Не потому, конечно, что, мол, ещё один год... и тому подобное.

«Я уж думал, что ты снова опустишься до банальности. Прости, что в очередной раз перебил».

До некоторых банальностей приходится не опускаться, а наоборот...

Нет — потому, что принято веселиться. Что может быть грустнее?

Чем ближе был новый сарай, тем ближе — новый год, и тем явственнее, хотя и ничуть не ярче, становились огни. Сначала я думал, что ярче они не становятся потому, что и без того уж ярче невозможно. Вгляделся и понял, что причина — в другом.

В том, что сияют, оказывается, не огни, а пуговицы и кусочки. Кусочки то ли материи, то ли одной большой пуговицы, разделённой непоровну между всеми. У всех же, как я впоследствии понял,

было принято в обязательном порядке стоять под этими кусочками и...

«Не забегай вперёд, обо всём — по порядку».

Как скажешь. Вернее, как прикажешь. Продолжу, с твоего позволения.

«Да продолжай уже, не ёрничай!»

14

Настал новый год: сарай был сменён.

В новом для меня сарае бросалось в глаза изобилие пуговиц, почти сразу увы, потерявших для меня притягательность вместе с потерей ощущения иносарайности. Своя пуговица ближе к телу, однако она же и лишена очарования чужеродности. Своё не отталкивает, но и не притягивает, а если притягивает, то всего лишь по инерции, свойственной всему, к чему привык.

Налицо в новом сарае были удобства, особенно — основное. Доступность, да и самоё наличие основного удобства поражали и, как оказалось, не начинали казаться полностью банальными даже с течением времени. В этом, очевидно, отличие удобств от пуговиц: без последних представить себя всё-таки можно, тогда как без первых — нет. К сожалению, нет.

В ознаменование доступности удобств или по другой причине, вокруг развевались не только на

ветру, но и в безветренную погоду многочисленные кусочки-лоскуты, те самые, которые я несвоевременно упомянул выше. Теперь до них дошла очередь, и в них можно и нужно было взглядеться.

Вглядевшись, я понял, что различаются лоскуты размерами, по сути же различить их невозможно, да никто и не различал. Все не проходили мимо лоскутов, а напротив, напряжённо вглядывались, остановившись как следует и как следует же замерев. При этом у каждого вглядывающегося наворачивалась слеза и губы подрагивали.

— О чём вы задумались? — спросил бы я, если бы сам себе позволил подобную дерзость, у очередной сараянки с подрагивающими губами.

— Отвешиваю мысленный поклон, — отстранённо ответила бы она, если бы считала ответ неочевидным, а вопрос — недерзким.

— Сарай нерушимый! — пели все, правда, по-новосарайски. У нас, в старом сарае, пели тоже и то же, хотя и по-старосарайски, разумеется.

Все замирали как следует, хотя и намного более раскованно, чем в оставленном мною сарае. Незапертая для посторонних избега голубая дверь с непринуждённой регулярностью распахивалась, и входили, вернее, влетали, непервая женщина и такой же непервый мужчина. Они были первыми

для всех сараен, и это придавало весомости говоримому. Было очевидно, что мужчина и женщина гордятся своей ролью и своими пуговицами, а значит и в первую очередь — своим сараем. И было чем: сарай сиял всеми пуговицами гордящихся им и ими сараен.

— Весомо и настойчиво просим любить и жаловать, — скажем, говорили непервые мужчина и женщина, — всеобщего любимца.

Веско названный всеобщим любимцем врывался в голубую дверь, бросал на всех плотоядно-отрешённый взгляд и в такт подёргиванию принимался нашёптывать фальцетом о чём-либо существенном, тогда как за ним шеренгой жестикулировали и шеренгой же подёргивались влетевшие вместе с ним неназванные общими любимцами.

Непервые женщина и мужчина пронзали всех неотразимым общим взглядом и сообщали:

— Требуем не ошибиться и постоянно восхищаться всеобщей недостижимой любимицей.

Всеобщая любимица спускалась ко всем с недоступной высоты, признавалась в микрофон в сокровенном и показывала всем же самоё себя, тем самым становясь ещё более недостижимой.

— И наконец, — звенящим голосом провозглашали непервая женщина и непервый мужчина, указывая на белоснежно-разноцветную

стену, — настаиваем на восхищении единственно правильным воплощением белостенности.

Из разноцветной белой стены выплывали всеобщие любимцы, воплощающие единственную правильность, и всем становилось понятно, **как** должно быть правильно и, соответственно, **как** правильно быть не должно.

— Допустимо и даже очень важно быть неправильным, — говорили самые первые под раскованное поскрипывание конспектирующих перьев и аналогично раскованный шелест переворачиваемых страниц записных книжек.

Поскольку же ко всем врывался, спускалась и выплывали только единственно правильные и потому всеми любимые, становилось понятно, что неправильность — это частный случай правильности, критерии какой правильности задавали всё те же ворвавшийся, спустившаяся и выплывшие.

От правильности, понятности и ясности всем было комфортно. В знак благодарности за отсутствие неоднозначности все становились навтыжку, прижимали правую ладонь к конкретной пуговице, как бы оберегая эту — первостепенную — пуговицу от потери, и нараспев повторяли сказанное непервой женщиной и непервым мужчиной. При этом все не отводили глаз от единственно возможного для всех

односарайцев лоскута, единственно правильных любимцев и универсальных удобств, в первую очередь — главного. От последнего, впрочем, глаза иногда отводили, но постоянно держали его в уме, это ощущалось.

15

Новый для меня сарай был велик, хотя и несущественно менее необъятен, чем старый, зато удобства и пуговицы были налицо. Я понимал, что наличие пуговиц и удобств является веским поводом для любви, но задавался вопросом, является ли поводом для нелюбви их отсутствие. В старом сарае удобств не было, пуговицы сияли блеском нового сарая, но (или и) я свой старый сарай любил. Сменил сарай в поисках источника пуговиц, то есть не из-за нелюбви к старому сараю как таковому, а из-за нелюбви к отсутствию пуговиц.

«Ты можешь объяснить всё, что возьмёшься объяснять».

Хорошо уже то, что ты считаешь это объяснением. Мне бы твою важную для меня уверенность, пусть и замешанную на сарказме.

Однако продолжу.

В одном из многочисленных мест всеобщего пользования нового сарая было много всех, в этом

новый и старый сарай были похожи.

Место было украшено лоскутами или, как я понял, зайдя в это место вторично и хорошенько присмотревшись, на самом деле лоскуты были украшены местом всеобщего пользования. Обилие пуговиц, при первом посещении поражавшее, при втором на чало переставать поражать, а после пятого или шестого воспринималось если не как предмет обыденной, каждодневной гордости, то как нечто само собой более чем разумеющееся.

А запах исчез окончательно. То есть какой-то запах, конечно, был, но разве это тот, первоначальный, новосарайный запах? Я помнил, что он был, а вот воспроизвести его, хотя бы мысленно, не удавалось.

Кроме количественного значения, пуговицы имели качественное, не говоря уже об удобствах, в особенности основном.

За столиком — нет, он был больше столика, как и всё в новом сарае, — за столом нас, бывших сарайцев, собралось много, хотя и намного меньше, чем сараян, занимавших всё место вокруг всех нас.

«Ты кажется, недолюбливаешь, когда — вокруг?»

Увы. Чем больше и чем ближе, тем хуже. Хотя чем дальше — не означает тем лучше, ведь то, что сейчас далеко, вполне может оказаться близко. Да и наверняка окажется, точнее говоря, окажутся. Ума

не приложу: вот вроде бы все совсем далеко, а нет, не успел расслабиться, как все окажутся за соседними столиками, вернее, столами. Все, сколько бы их ни было, а их — много.

«Не язви, лучше продолжай рассказ».

Не рассказ, повесть.

— Мы счастливы! — сказал бывший сараец, пристально глядя на изредка чередующихся правильных, поимённо отобранных в своё время непервой женщиной и непервым мужчиной.

— Мы счастливы! — кивнула бывшая сарайка, неотрывно глядя туда же.

Кто-то или что-то дёрнули меня за язык, и я спросил:

— Правильно ли, что должно быть правильно и неправильно? Правильно ли, что должно быть неправильно? То есть и может, и должно?

— Только так и правильно! — ответили бывшие сосарайцы и правильно приложили руку к соответствующей пуговице, которая была теперь у каждого из нас. Рука прилагалась к пуговице по всем правилам приложения руки к пуговице.

— Но ведь в старом сарае, — продолжал я, безуспешно стараясь оторвать язык от тянущих за него кого-то или чего-то, — в старом сарае хотя и не было удобств, особенно основного, да и вида, если быть последовательным, не было, тоже ведь было правильно и неправильно. Разве это

правильно?

Все сосарайцы понимающе покачали головой:

— В старом сарае правильно быть не могло, равно как не сможет быть неправильно в новом.

«Кто или что тянет тебя за язык? Неужели нельзя промолчать, когда тебя не хотят спрашивать?»

Если молчать, никогда и не спросят...

«Никогда не спросят, если не молчать, — перебил он меня. — Кроме того, лучше пусть вообще не спрашивают, чем не промолчать. Если отсутствует вопрос, то кому, спрашивается, нужен твой ответ?»

Хорошо, я промолчал.

— Они все разные! — продолжала бывшая сарайка. — Не то что там, в старом сарае.

Бывший сосараец кивнул:

— Вы правы. Но большинство из них — разные правильно, тогда как растущее меньшинство — неправильно.

По лёгкости и плотности приложения правых ладоней к пуговице чувствовалось, что бывшие сарайцы освоились в новом сарае и он стал для них в лучшем смысле этого слова старым.

Строго взглянув на некоторых сараян, бывший сараец отметил:

— Их становится за соседним столом всё больше, что, позволю себе заметить вместо

умолчавших об этом фактически первых женщины и мужчины, неправильно. Если так пойдёт и дальше, — а дальше пойдёт именно так, — термины «меньше» и «больше» потеряют своё исходное правильное значение.

Все новосарайцы — теперь уже сараяне — согласились и кивнули.

Всеобщий любимец, изначально веско представленный непервыми женщиной и мужчиной в качестве такового, был неотлично похож на неправильно увеличивающихся в числе. Но он изначально был представлен как правильный, поэтому таковым не только был для сараян, но и стал для бывших сарайцев, правильно не убиравших ладоней с пуговиц даже тогда, когда сараяне свои ладони временно, тоже правильно, убирали.

16

Прошлое — это отрывной календарь, оторванные листки которого хранишь, не выбрасывая.

«Некоторые всё-таки выбрасываешь, ты не станешь возражать».

Они сами теряются за ненадобностью. Нужные — хранятся, хотя и желтеют.

«Снова вынужден возразить: сколько нужных

потеряно! Если бы знать, что они окажутся нужны, разве потерял бы, оторвав?»

Мой отрывной календарь состоит не из листков — зачем мне листки? — он у меня — из чёрно-белых снимков. Эти снимки — самые цветные на свете, цветнее не бывает. Нет снимков более цветных, чем чёрно-белые. Я взял с собой свой календарь, хотя — или потому, что — время в нём — только прошедшее.

Там, в старом сарае, все говорили, как минимум пожимая плечами:

— На них нет ни даты, ни, что важнее, красок. Что толку в календаре с чёрно-белыми листками?

Я не отвечал — как ответишь, когда спрашивают не для того, чтобы услышать ответ. Просто взял с собой этот мой чёрно-белый календарь, в котором, увы, нет некоторых листков, таких, теперь я понимаю, незаменимых. Сам когда-то, в прошедшем времени, оторвал их безвозвратно, и где теперь ни ищи, — а я всё ищу и ищу... — не найдутся. Раз уж листок оторван, время его прошло, а прошедшему времени никак не стать настоящим. Времени, чтобы сохраниться, ни в коем случае нельзя становиться прошедшим.

Календарь изрядно похудел, зато некоторые чёрно-белые листки остались в настоящем моём времени, не затерялись в прошедшем.

Вам всем они кажутся нецветными? Как

жаль!.. Не снимков — вас.

Вот, посмотрите на все ваши цветные снимки: всё, что в них есть якобы цветного — это беззастенчиво, примитивно ясные краски: красная, синяя, ещё какие-то — элементарные, очевидные, мне неинтересно их перечислять.

А теперь — я разрешаю вам всем присмотреться ну хотя бы к вот этому, одному из снимков, составляющих мой календарь. Видите вот эту женщину? Она стоит вполоборота ко всем — кроме меня, разумеется, — не зная, что щелчок фотоаппарата никогда не останется в прошедшем времени, и дата на снимке женщине не нужна. Не останется потому, что я не позволю ей уйти из настоящего. Смотрите: какое на женщине платье? Белое? Кремовое? Салатное? Голубое? Бежевое? Розовое? Видите, сколько красок — в одном лишь платье? А небо у неё за спиной — какое? Уже синее, ещё голубое? А солнце — оранжевое, красное, жёлтое? Ну вот, а вы все называли снимок чёрно-белым. Да в нём больше цветов, чем во всех цветах всех полей и лугов на чёрно-белом свете. На каждом из этих снимков нашлось место каждому цвету и оттенку. Берите — мне не жалко — все мыслимые и уже неммыслимые краски.

Берите, а то придёт будущее время и некому будет не позволить моему чёрно-белому листку оторваться от календаря и нырнуть в бездонное

прошедшее время... Бездонное — если не охранять от него календарь.

Возьмите, пожалуйста, пока не поздно.

17

В старом сарае, как мы помним, завсар был титулом. В новом же титул начсара отсутствовал.

— Это, — объявили всем непервые для нас мужчина и женщина, — главное удобство. Без него пуговицы не сияли бы и остальных удобств не было бы.

«Для тебя главное удобство — нечто иное, неправда ли?» — спросил он понимающе и ухмыльнулся.

Ничего смешного. Если выбирать между действительно главным удобством и этим, я, безусловно, выберу главное. Пусть лучше пуговицы не сияют, чем не будет основного удобства. Но это — если придётся выбирать.

«Однако выбирают не удобство, а начсара, — уточнил он, как будто я не знал этого без уточнений. — Каждый может выбрать себе начсара по вкусу, вот и выбирают».

Вот только начсар, как и завсар, — один на всех, общий, сколько ни выбирай. Да и может ли у каждого быть личный завсар, не говоря уже о личных сосараянах? Пусть уж лучше титул остаётся

титолом.

«Ты заразился от меня бациллой сарказма, браво».

Какой же это сарказм? Посуди сам: в старом сарае в мешке был кот, в новом — коты. Кто бы в конце концов ни нашёлся в мешке, он остаётся не кем иным, как котом, даже если на поверку окажется кошкой. Главное — не собственно кот, а его местонахождение, то есть — мешок.

— Да уж, — не глядя на первых своих мужчину и женщину, согласился знакомый сараянин и отхлебнул из кружки. — От мешка никуда не деться. Мешок останется мешком, а кот — котом или, на худой конец, кошкой.

И, приложив ладонь к пуговице, продолжил:

— Многие, из других сараев, не согласны, что много котов — лучше одного и что возможность выбрать кота, то есть начсара, конечно, — это главное удобство. Приходится объяснять, хотя самим в это не слишком верится. Но, знаешь ли, — он снова отхлебнул и приложил руку к пуговице, — одно дело — не верится нам, в этом сарае, а совсем другое — не верится иносараянам. Этим не верить не должно. Жаль их, приходится объяснять.

— Удаётся объяснить? — заинтересовался я.

Сараянин подал плечами.

— Когда как. Некоторым повторяем

неоднократно, некоторых суём в мешок, чтобы убедились в преимуществах мешка перед его отсутствием.

— С котами? — проявил я понимание. — Я имею в виду мешок.

— За котами дело не станет, — кивнул сараянин.

— Сложное дело, — вздохнул я сочувственно.

— Что ж поделать: им, иносарянам, без мешка ведь никак, — положил он ладонь на пуговицу. — Иногда приходится применять силу, в их же интересах. А сила, применённая в интересах того, к кому её применяют, это вовсе и не сила. Это — самое что ни на есть наиглавнейшее удобство.

В новом сарае главным удобством, на мой ошибочный взгляд, было другое, но, наверно, у каждого главное удобство — своё собственное. Всё, судя по всему, зависит от системы критериев.

«И от размеров мешка», — добавил он, потому что ему в которой уже раз виднее.

18

В зале присутствовали все, даже формально отсутствующие: все последние, уверен, не чувствовали себя последними: они прильнули к происходящему, чтобы потом поделиться увиденным и услышанным.

Непервый мужчина положил руку на главную пуговицу, понимающе улыбнулся краешками губ и обратился ко всем с ожидаемым всеми вопросом:

— Почему, дорогие все, мы гордимся нашим сараем?

Все широко улыбнулись и гордо ответили:

— Потому, что в нашем сарае — все удобства, тогда как в других сараях, по слухам, удобства отсутствуют.

— И потому, что всеобщие любимец, любимица и любимцы — единственно правильные, в других же сараях, как говорят, правильного любимца, правильной любимицы и правильных любимцев нет и быть не может.

— И потому, что наш сарай сияет как следует, а не так, как, судя по доходящей до нас информации, пытаются сиять псевдосараи, называющие себя сараями, тогда как всем известно, что нет сарая, кроме нашего сарая.

— Но самое важное — это то, что должности начсара и замначсара не являются титулами, — заметила непервая женщина, по случаю находящаяся среди всех.

Непервый мужчина тонко улыбнулся и, плотнее приложив руку к главной пуговице, добавил:

— В тех сараях, в которых завсар и замзавсар являются титулами, удобства недостижимы в

принципе, а любимцы — в принципе же неправильные.

Красноречиво помолчав, он продолжил:

— Мы, в нашем единственно правильном сарае, должны быть начеку: недалёкие обитатели некоторых далёких псевдосараев не знают, каким должен быть правильный сарай, и нам периодически приходится осчастливливать их разъяснительной помощью. Некоторые осчастливливаемые сопротивляются своему счастью. На нашу долю, дорогие все, выпало преодолевать активное непонимание единственно правильного счастья.

Все дружно вскочили, прижали руку к пуговице и ответили своему первому мужчине взаимностью.

Однако на поверку оказалось, что вскочили всё же не все: когда все сели, один из всех сараян поднял руку, не желающую покоиться на пуговице:

— Слушаем вас, — поднял брови непервый мужчина.

— Одно из удобств — очень неудобное, — выдохнул сараянин, не присоединившийся ко всем ранее вскочившим.

Непервый мужчина временно убрал правую руку с главной пуговицы и поднял указательный палец этой отнятой от пуговицы руки:

— Тем далеко не всем, вернее, тому далеко не

всем, кого не устраивают наши удобства...

— У-у-у! — сказали все.

...— все мы скажем: — продолжил непервый мужчина, и все поддержали его скандированием:

— Чемодан, вокзал, псевдосарай!

Непервый мужчина снова прижал руку к главной пуговице и завершил назидание:

— Спешу, однако, успокоить вас: где бы вы ни оказались, уважаемый сарянин, влекомый своим недовольством нашими единственно правильными удобствами и не ценящий их и своего счастья, мы окажем вам настойчивую разъяснительную помощь.

Все вскочили, прижали руку к главной пуговице и ответили непервому мужчине горячей взаимностью.

Раздался щелчок, и я, временно оставшись безо всех, смог подумать.

19

Думалось о сараях.

Любить сарай? Как не любить сарай?

Казалось бы: ну что взять с неказистой частицы, незаметной и безобидной? Ан нет, в ней-то как раз вся суть. В ней, в этой её худосочной, хваткой ручке, — не той, которой я сейчас пишу о ней, а в её пальцах-защипках,

липких, неуступчивых, приставучих, почти самодостаточных.

Как любить сарай? Как его не любить?

Не помню, когда именно — собравшись в путь или добравшись до сияющего сарая без вида, — когда именно я понял, что свой сарай можно любить потому, что он свой, и не любить — по той же причине.

«Причина не слишком весомая, — заметил он. — Думается, столь эфемерный аргумент нуждается в усилении».

Я уверенно покачал головой. Аргументировать можно всё, кроме любви или нелюбви к сараю. Говоря точнее, это чувство само находит аргументы, в равной степени веские вне зависимости от того, любишь ты сарай, или же ты сарай не любишь.

«Любить» не означает отсутствия нелюбви, равно как «не любить» не означает отсутствия любви. Оба эти чувства применительно к сараю — нематериальны. Они идут не снаружи, а откуда-то изнутри, причём неясно, откуда именно. Сарай любят беспричинно, немотивированно. Аналогично — не любят. И частица, крохотная и вроде бы незаметная, как рыбная косточка, определяет это чувство: застряла в горле — не любят, откашлялся — любят, а сам по себе глагол ничего не решает, частица играет им по собственному своему

усмотрению.

Все любят свой сарай, особенно когда сменят его на сияющий, иначе говоря, чужой. Впрочем, так ли уж иначе? Все живут в своём тускло сияющем сарае, не могут терпеть новый сарай с его пугающим пуговичным сиянием и передают друг другу истории, одна реалистичнее другой, о всеобщности и общедоступности малодоступных в старом сарае пуговиц.

И чем сильнее не могут терпеть далёкий сарай, тем острее желание сменить загадочный вид любимого сарая на простовато-ярко сияющий новый сарай, совершенно не имеющий загадочного вида, но — и это тебе не частица какая-нибудь, это — союз! — но имеющий удобства, не говоря уже о пуговицах.

Сменив старый сарай на новый, все впадают в сильнейшую любовь, степень болезненности которой соизмерима с мощностью безжалостной частицы. Ещё не добравшись до нового сарая, экс-сарайцы начинают испытывать неистовую любовь к этому новому сараю, превосходящую любовь к нему исконных сараян. Одновременно и соответственно их нелюбовь к старому сараю резко превосходит нелюбовь к нему собственно сарайцев.

«Хочу уточнить. Нелюбовь к старому сараю может принять — и временами принимает — форму нелюбви к новому».

Ещё бы! И как результат — любви к старому. Неуправляемая частица скачет куда и откуда хочет, не зная границ, наполняя беззащитный глагол неизбывной, яростной силой, тем самым превращая любовь в её зеркальное отражение, и наоборот, зеркальное отражение — в любовь. В частице нет ничего частного, она всеобъемлюща, и чувства всех по отношению к сараям — старому и новому — находятся в полной от неё зависимости.

«В частице нет семантики», — сказал он.

Её нет и в отношении сарайцев и сараян к сараям. Зато сколько угодно есть этой самой частицы.

Мой новый друг, сараянин, когда-то бывший сарайцем, сделал заказ и проговорил, когда официант удалился:

— Нет сарая, кроме сарая.

Он обвёл взглядом место, где мы собрались.

— Было, — возразил другой бывший сараец. — И вид был, и всё, что к нему относится. А в новом сарае — не вид, а одна лишь видимость.

Первый из собеседников почти вспылил:

— Тут есть пуговицы. А что было там, в старом, с позволения сказать, сарае?

Второй бывший сараец более чем не согласился и в знак более чем несогласия швырнул в собеседника сначала пуговицу, потом перечницу:

— Разве это пуговицы? У них даже цвет не

естественно мягкий, а неестественно жёсткий. Не говоря уже о свете.

Перечница оказалась старой, но по-новому крепкой.

— Вся соль в том, — более чем возразил собеседник, швыряя в собеседника солонкой и возвращая ему брошенные ранее перечницу и пуговицу, — что отсутствие пуговиц не может компенсироваться отсутствием цвета и света.

Мы продолжали бросаться перечницей и солонкой, стараясь убедить друг друга. Хотя, если присмотреться, это были не солонка и перечница.

Это была — всё та же частица. Разве что побольнее и похлеще любой солонки и любой перечницы.

20

Что же это шумит, мешая идти, застилая дорогу, закрывая из виду то, куда иду?

Я начинал догадываться, но догадаться не хотелось.

Мне отвечали — равнодушно или печально, сочувственно вздыхая или бесчувственно улыбаясь, махнув рукой или разведя руками. Отвечали те, кого я не спрашивал, и молчали те, кто ответить не мог, как бы ни хотели. Да и не ответили бы, а просто — просто? — постарались бы унять этот

шум для меня.

Не могли, вот в чём дело.

Что же так шумит — назойливо и неслышно, пролетая мимо и мимо, туда, к почти забытой первой фразе?

И откуда?

Стараюсь понять — откуда же?

Оттуда, куда зачем-то иду...

И вспоминаю, вспоминаю, повторяю первую фразу.

Иначе — не пойму.

21

Новый сарай заслуженно почивал на несомненных лаврах, сияя и переливаясь.

В старом же велась коренная сараизация. Ведь если сарай оставить несараизированным, то рано или поздно статус сарая он утратит — и что же тогда? Сарай без статуса — разве это сарай?

«Не так уж и поздно».

Ну вот, тем более. Сарай без статуса не имеет права даже на название. Так, нечто неназванное, не более того. Даже, говоря начистоту, менее.

«Вместо долгих рассуждений — отправься и посмотри. Или хотя бы справься».

Отправиться не смогу — я ведь уже однажды отправился в путь, из старого сарая в новый. А

дважды собирать вещи, даже временно, вряд ли сумею. Что может быть тяжелее и незаслуженнее, чем собирать вещи? Не обращай внимания на вопросительный знак: он в данном случае такая же грамматическая формальность, как, скажем, прошедшее время.

А главное — в каком бы направлении мне ни пришлось идти, направление останется неизменным. И что-то, кажется, я начинаю понимать. Понимаю, что именно будет продолжать шуметь, застилая путь...

22

После сараизации просторное помещение было переполнено обучаемыми. Все обучались у многочисленных непервых — для не самых юных обучаемых — у многочисленных непервых женщин и мужчин. Те выходили и входили в помещение через бесчисленные разноцветные двери, дверцы, окна, окошки, бойницы, бойнички, кулисы, экраны. Обучающих, среди которых я увидел и хорошо знакомых мне мастеров по-прежнему допустимого свиста, было не меньше, чем обучаемых. Возможно, обучаемых было всё-таки пока ещё больше, но когда сосчитать не удаётся, не остаётся ничего, кроме знака равенства, остальные знаки теряют смысл.

Перьев после сараизации не было, скрипеть было нечем. Бумаги тоже не осталось, нечему было шелестеть.

Вместо привычных шелеста и скрипа раздавалось непривычное поначалу постукивание клавиш. Клавиши постукивали в соответствии с тем, чему обучали обучаемых далеко не первые мужчины и женщины.

— Прошу любить и жаловать, — говорила более чем непервая женщина, при этом более чем непервый мужчина твёрдо кивал. — Прошу любить и жаловать звезду популярного щёлка!

Звезда популярно щёлкала проблемы как семечки, вызывая массовый восторг обучаемых. Оконные стёкла звенели, шелуха плавно опускалась на парты.

— Наша главная проблема, — размеренно диктовали обучающие обучаемым под щёлкание проблем и постукивание клавиш, — точнее говоря, единственная наша проблема — это новый сарай в целом и его сараяне в частности и особенности. У нового сарая нет вида, его вид — сплошная видимость. В связи с этим сараяне прикрывают отсутствие истинного, только нам доступного вида его подобием, кажущимся им совершенно бесподобным.

Не дожидаясь паузы в постукивании клавиш, более чем непервый мужчина, поддержанный более

же чем непервой женщиной, объявлял:

— Прошу жаловать и любить: звёзды популярной песни и пляски.

Звёзды всем своим видом показывали. Тем самым они подтверждали объявленное, тогда как обучаемые одновременно и своевременно постукивали клавишами, это объявленное фиксируя. Восторг не переставал быть массовым.

— Любить пуговицы и всяческое сияние, — обучали обучаемых обучающие, — и не любить сарай и сараян — это фактически одно и то же, равно как буквально повторять произнесённые сараянами слова и отрицать сараян вместе с их якобы новым сараем.

Говоря так, они обильно повторяли слова сараян, ставшие близкими всем сарайцам со времени начала сараизации.

— Попробуйте массово не восхититься, — объявили совершенно непервые мужчина с женщиной под аплодисменты не менее непервых женщины и мужчины, — только попробуйте не восхититься звездой раскованного слова.

— У сарайцев, — раскованно сказала звезда, — собственная гордость, в отличие от гордыни сараян.

Обучаемые раскованно законспектировали произнесённые слова слово в слово.

— Отсарайм, — раскованно продолжила

звезда словами сараян, — наш сарай, чтобы он сиял как новенький.

Звезда показала в сторону не такого уж и далекого нового сарая и сказала в заключение:

— А они, сараяне, пусть себе продолжают называть свой сарай новым. Но только наш, настоящий, истинный в своей первозданной новизне сарай заслуживает названия новенького.

И все подтвердили сказанное всеобщим восторгом, допустимым свистом и словами сараян, ставшими для сарайцев незаменимыми, как пуговицы и сияние.

23

«В твоём изложении все почему-то разговаривают исключительно за едой».

Я утвердительно кивнул. Когда рот полон, говорить удобнее, чем когда он пуст.

Вот, пожалуйста.

Один из всех правильно взял еду пальцами обеих рук, привычно откусил, низко наклонившись над столиком, и сказал:

— Сараизация старого сарая, как я и предсказывал, не удалась. — Он правильно высморкался в бумажную салфетку. — Можно ли сараизировать нечто заведомо несараизируемое? Отсутствие конкретных удобств никогда не

компенсируется наличием абстрактного вида. Даже если удобства частично реализованы. Старый сарай остался старым сараем, сараизация не привела к усилению сияния и изобилию пуговиц.

Он снова откусил от еды, низко наклонившись над столиком и правильно, словно массируя затёкшее место, держа кусаемое.

Чужой сарай никогда не станет своим, даже если он свой. Совсем непервые женщина с мужчиной не обратили внимания на этот комментарий.

Другой из всех откусил из вилки, которую правильно держал в левой руке, и сказал:

— Сараизация удалась, это неоспоримо. — Он правильно высморкался в носовой платок. — К виду добавились удобства, и теперь бывший старый сарай — новее этого якобы нового. Пуговицы в нём намного изобильнее, чем в те приснопамятные времена до сараизации, сияние — несравнимо ярче.

Затем он правильно отпил и правильно же промакнул рот свободным уголком носового платка.

Свой сарай никогда не станет чужим, даже если он чужой. Уже непервые женщина с мужчиной не обратили внимания на этот комментарий.

Частица по-прежнему беззаботно перескакивала с места на место. Зато нужда в перечнице, кажется, отпала, по крайней мере за

этим столиком.

Кто-то из них показал на вазу с цветами посреди столика и сказал:

— В хорошей вазе цветок хорошеет.

Другой даже не посмотрел на перечницу и согласился:

— Плохой цветок компрометирует вазу. Хорошая ваза — это большое одолжение цветку. Кому он без неё нужен?

Мне, сам не знаю почему, нестерпимо захотелось сморкаться, но не сморкалось: я не знал, как правильно. Точнее говоря, знал, — но кто его знает...

Сморкалось. Вода в вазе застоялась, официант унёс вазу вместе с водой и цветком.

Я вышел на улицу. Кто-из всех то правильно чихнул, приблизив рот к полусогнутой в локте руке, кто-то из всех правильно высморкался в бумажную салфетку. Высморкавшись и чихнув, все правильно спрашивали у меня и друг у друга, как дела, и правильно не услышав ответа, шли дальше, спрашивая у других встречных и снова уходя.

Есть слова, которые необходимо да и, наверно, достаточно говорить.

Все перечислили эти слова, чтобы я не забывал, как правильно.

— А остальные? — спросил я, зная ответ.

— Остальные не имеют значения, — ответили

все — думаю, не зная ответа.

Хотя разве все знают, что — не знают?

В том числе я. Я ведь не менее все, чем все остальные.

24

Непервых мужчин и женщин собралось не меньше всех, и всех это вдохновляло. Все прижимали ладони к разноцветным пуговицам, строго и гордо смотрели на лоскут и возвышавшихся под ним и над ними непервых женщин с мужчинами.

— Есть сараи, кроме сарая, — сказала одна из непервых женщин.

— Но разве это сараи? — подтвердил один из непервых мужчин.

Все явно знали об уникальности нового сарая, но каждый раз явно же рады были слышать подтверждение своего знания. Не то чтобы оно не переходило в уверенность — просто без периодического подтверждения уверенность может перейти в неуверенность.

— В сарае жить — сараянином быть! — объявили непервые мужчины и женщины, и все отскандировали в ответ:

— Сараянином быть — в сарае жить!

Играли непреходящие музыкальные

инструменты, жить всем становилось радостнее и веселее.

— Настоятельно просим обожать воплощение женской красоты! — сказал непервый мужчина, и не помост вышла красивейшая женщина всех времён и сараев. На лице её был нежный сырный макияж, она излучала всё, что можно — но лишь ей — излучить, не переставая излучать это ни на секунду, что явно укрепляло всеобщую убеждённость в единственности нового сарая.

— Да здравствует кот в мешке! — объявила женщина, воплотившая женскую красоту, и с торжественным очарованием закусила объявленное кусочком сыра.

Все встали и, приложив руки к пуговицам, радостно отдали дань вышедшему на помост из эффектно декорированного разноцветного мешка торжественно мяукающему начсару, недавно всеми отобранному именно с этой целью.

«Ты считаешь, что кота в мешке выбирают только для того, чтобы он вышел на помост?»

Не просто вышел — этого было бы до обидного недостаточно. Для того, чтобы — выходил.

— Да здравствует наш сарай! — объявил вышедший, держа руку на пуговице.

— Нет сарая, кроме сарая! — проскандировали все в ответ. — Нет мешка, кроме

мешка.

— Все, как всегда, правы! — ответил вышедший, не убирая руки с пуговицы. — Потому что такого мешка нет больше ни в одном из сараев. Да и сараи ли это? Впрочем, да и мешки ли?

Все оценили шутку и расхохотались глубоко, до чихания в локтевой сгиб временно снятой с пуговицы руки.

25

Ты же видишь: чем разноцветнее, тем бесцветнее. Или мне показалось? Но если показалось однажды, то почему кажется постоянно? Ведь если постоянно, то, скорее всего, не кажется, а так оно и есть?

Он понял, но переспросил:

«Ты имеешь в виду пуговицы или всё сияние в целом?»

Я пожал плечами:

Сарай отсвечивает пуговицами, иначе откуда же взяться сиянию?

Теперь была его очередь пожать плечами или как-то иначе выразить сдерживаемое небезразличие:

«Не отправиться ли тебе в путь ещё раз?»

Было так невесело, что пришлось рассмеяться. Зачем полагаться на нецветной сарай, если у меня

есть мои цветные, мои разноцветные чёрно-белые снимки в отрывном календаре? Куда бы я ни отправился, они — со мной, они — это именно то и как надо. Их не нужно любить и жаловать, о них — лучше написать роман.

«Вот как? И что же, ты дашь героям своего романа имена?»

Я снова рассмеялся, но теперь потому, что было весело:

— У моих героев имена уже есть, я не стану давать им другие. И сарай менять больше не стану, удобств и пуговиц мне хватает, да и в них ли дело? Пойду — но не в другой сарай, а от снимка к снимку. Это — единственно сто ящее путешествие, не зависящее от грамматического времени, в котором я, как оказалось, не силён.

Ему оставалось кивнуть мне, не прощаясь, и посоветовать:

«Когда идёшь вверх, старайся не смотреть вниз. Когда идёшь вперёд, старайся не смотреть назад».

Но разве можно не смотреть туда, откуда пришёл? Разве перестанут напоминать об этом многоцветные листки чёрно-белого неотрывного календаря?

Я шёл, оглядывался, и теперь уже знал, что мешает мне идти, что с таким шумом пролетает, улетает мимо. Туда, куда всё-таки лучше не

смотреть.

Прошедшее время здесь имело сугубо косвенное отношение к действительности, ты, разумеется, понимаешь.

«Понимаю. Но когда твою повесть наконец-то будут читать, настоящее станет давно прошедшим». Думаешь, будут?

Апокриф

Навязчивый стук не прекращается...

«Что-то меня потянуло на чёрный юмор...»

«Твой юмор, как бы чёрен он ни был, меня не раздражает. Цвет острот выбирает острящий, мне остаётся принимать твой выбор как должное».

«Ну хоть что-то должно же тебя раздражать? Вот и хлопнула бы дверью и ушла бы себе куда глаза глядят!»

«Было бы чем хлопать...»

Название на месте. А вот последняя фраза в моём рассказе осталась недописанной — рука устала выводить точку.

Точка отказывалась выводиться, хотя до неё в рассказе был целый выводок этих самых точек. Последняя точка сопротивляется дольше и упорнее других, только внешне похожих на неё. Потому, я думаю, что последняя — это и впрямь точка, а остальные — лишь разновидности запятой...

Охотнее всего возникает первая, нетерпеливая и легкомысленная, будто... ну, не знаю, — будто любовь с первого взгляда, если не задумываться о более удачном сравнении. А вот последнюю приходится искать немислимо долго, как ищешь невесть куда задевавшуюся старинную монетку из не имеющей без неё смысла нумизматической коллекции. И ведёт она себя не как последняя точка, а точь-в-точь наипервейшее слово...

Я вышел из дому, как водится, захватив книгу, — да-да, разумеется, вышли — мы. Мы решили подышать воздухом — нейтральным, не то что вечный чернильный аромат моего нескончаемого рассказа.

Мы — означает вдвоём. Но, конечно же, решил я... Решаю-то я!..

«Решаешь, решаешь, не горячись».

«Ладно, не хочешь уходить — оставайся, пойдём вместе... Только не мешай мне, пожалуйста! Не мешай мне своим присутствием!»

И отсутствием — тоже не мешай...

Без этих прогулок моя жизнь превратилась бы в пустую квартиру без двери, куда входят, не постучавшись.

«Квартира с зияющим входом ничем не лучше рассказа без точки, согласна?...»

«Не отвлекайся и ответь: итак, ты решаешь, — ну, и что же тебе удалось решить?»

Не буду отвечать на колкости...
Сконцентрируюсь на более существенном.

Книга была тяжёлой, но я всё равно всегда брал её с собой: ей одной под силу заглушить не оставляющий меня в покое стук. Для этого её, к счастью, не обязательно открывать, да я обычно и не открываю...

«Буду думать, что стучит дятел. Тогда можно помечтать, что навязчивый стук оставит меня в покое, когда, рано или поздно, закончится затянувшаяся весна...»

Весна в моём северном крае длится круглый год, даже после того, как птицам — стучащим ли, поющим ли — становится неуютно на деревьях. И сейчас, летом, весна по-прежнему продолжается — ну чем не мой рассказ?

Дятлу некуда деться от своего дерева, на дереве всё равно уютнее, чем в неприветливом небе... И стучать в небе не во что...

А куда мне деваться от привычного стука - «который ты игриво называешь навязчивым». «Очень остроумно. Ты разве не поняла — это дятел стучит».

Луч — не отвлечённо геометрический, а всего лишь простецкий, солнечный, — старой учительской указкой показал мне на скамейку под деревом. Я положил неподъёмную книгу рядом, отпустил галстук — или затянул его — для не

дописавшего рассказ это практически одно и то же — и прислушался. Подумал, что бы сказать, и единственное, что нашлось, было довольно резкое:

«Вот найду потерянную монетку, и ты уйдёшь. Договорились?»

«Мы с тобой далеко ещё не договорили, так что время договариваться не пришло... А начали давненько, когда я торжественно числилась первой из точек».

«Лучше бы ты попробовала стать последней... Впрочем, это у тебя вполне получилось: ты оказалась обеими по совместительству».

«Бурчишь, значит, предпочитаешь числить меня последней, пусть и наиболее своенравной. А ведь моя покладистость так же бесконечна. В знак её демонстрации подыграю тебе: я согласна считать заканчивающееся лето незаконченной весной. Когда выведешь искомую точку — попробуем договориться. Точнее говоря — если выведешь. Я тебе, как у нас с тобой принято, ничего не обещаю — только обнадёживаю. А разве быть обнадёженным — недостаточно?»

Стук возвышался и учащался. Наверно, высокие широты заставляют его звучать бесконечно высокой нотой, не имеющей определённого содержания, словно рассказ без последней точки.

«Или роль без актёра... Не написать ли об

этом — когда, наконец, закроется дверь?...»

Со скамейки мне было едва слышно ржание детских коней и туманно видны непреодолимые ржаные заросли. Вероятно, весна даже поздним летом искала свою монетку... Ах, была — не была, скажу всё, что думаю:

«В наших северных краях несжатая рожь напоминает твои волосы, не сжатые обручем, не отягощённые лентой, не стиснутые платком, — твои волосы, пропахшие ржаным ароматом моих чернил...»

До кого-то же он пытается достучаться, этот дятел? Или помогает мне найти мою монету?

«Знаешь, почему ты пристрастился к деталям?»

Я промолчал.

Книга лежала рядом, это успокаивало, но и чуть тревожило. Её тяжело носить с собой повсюду, ещё труднее перелистывать тяжёлые страницы. Время от времени хочется перевести дух, лучше всего — на этой скамейке, окружённой растрёпанной рожью, колышущейся в такт непреходящему стуку.

Ну, хорошо, отвечу:

«Твои вопросы становятся всё более детальными... Ты пристрастилась к деталям ничуть не меньше моего, только, боюсь, нас интересуют разные детали... Хорошо, раз ты настаиваешь, я

отвечу: когда нет целого, цепляешься за частности, наивно надеясь, что они составят целое, или хотя бы заменят его. И знаешь — иногда заменяют».

«Видишь ли, я не интересуюсь тем, **что** ты называешь заменяющими целое деталями. И, разумеется, не интересуюсь этим твоим целым, просто потому, что оно для меня — самая незначительная из деталей. Для меня важнее обобщение, оно заменяет необходимость в подробностях...»

Дятел так дятел... Правила давно и полностью приняты.

Сто ит стуку прекратиться — и рожь никогда уже больше не заколышется...

Снова чёрный юмор, привычно многовато на сегодня.

Не перехватить ли мне инициативу:

«Интересуешься. Возможно, не так болезненно, как я... Между прочим, «не так» вовсе не означает «менее».

«Нашёл время переходить в контратаку. Обобщение важнее для меня любой из фраз, и всех точек, вместе взятых, — проставленных и потерянных».

Удивительно, что её не раздражает постоянный стук. Поэтому-то она не хочет уходить. Когда же придёт её время и она оставит меня в покое?

«Ты хочешь, чтобы время пришло само собой, так же, как тебе пришло в голову постоянно приходить на эту скамейку? Не кажется ли тебе, что с твоей стороны подобная тривиальная самоуверенность граничит с тривиальным же отчаянием?»

Прихожу, но мой рассказ остаётся дома один, без точки... Обесточенная, прохудившаяся сеть, годная разве что на безрыбье... А ей, видишь ли, подавай обобщение.

«Я постоянно прошу тебя уйти, но ты беспардонно остаёшься...»

«Да, остаюсь, и даже горжусь этим, хотя упорно стремлюсь оставить тебя, пользуясь твоей терминологией, в покое. Не уйду потому, что ты ещё упорнее не отпускаешь меня. Ну, предположим, отпустишь: кого же тебе тогда останется умолять и удерживать? Ты любишь меня за то, что у тебя для уговоров есть я, и опасаясь расстаться со мной, чтобы вместо меня не пришлось упрашивать кого-то другого, согласен? Я имею в виду — другую».

Дождь разговорился в такт нашей беседе. Его фразы безобидно обрушились на ржаную промокашку, отпечатываясь на ней расплывчатой, неразборчивой, хотя и многословной рукописью. Я узнал среди этих фраз свои — самые сырые из выпадавших.

Рука или ветер — мне никогда не было видно со скамейки — провели по волосам, чтобы они растрепались ещё сильнее.

«Твои волосы не укладываются ни в какую причёску».

Неукладывающиеся ржаные волосы насмешливо бросались мне в глаза, я отводил их — и глаза, и волосы, но ржаная копна не слушалась и рассыпалась вокруг скамейки и дерева, в ветвях которого невидимо и учащённо старался до кого-то достучаться дятел.

«Так почему всё-таки тебя не раздражает постоянный стук?»

«Послушай, я тебе ни в чём не отказываю, но — или и? — ты не можешь помешать мне существовать вне зависимости от несущественных частных, даже если мы согласимся назвать их не уничижительно — частностями, а нейтральнее — факторами, что ли. Опережаю твой вопрос: существенных факторов для меня не существует».

«Почему же ты не хочешь оставить меня в покое и реализовать свою независимость в полной мере?»

«Потому, что ты слишком безнадёжно сильно этого хочешь. Твои настойчивые требования уйти — сильнее любых вялых просьб остаться».

Ну да, мы договорились, что это будет дятел, не станем вносить запоздалые коррективы...

«Ты постоянно твердишь мне это, словно повторяется одна и та же запись, которую я обречён проигрывать с тех пор, как чернила впервые промакнулись на моей первой, наименее сырой из фраз... На моей первой фразе, увенчанной послушной, игривой точкой...»

«Ты проигрываешь её, но она остаётся беспроигрышной: других слушателей у неё и соперников у тебя — нет».

Кто способен обнадёжить лучше, чем обнадёживаешь себя сам?...

«Возможно, ты исчезнешь, если я допишу недописанную фразу?»

Решиться и отыскать последнюю точку?

«Я решусь, но — пообещай, — хотя ты никогда ничего мне не обещала...»

«Попробуй, тебе же не впервой пробовать, — а мне не впервой ожидать счастливого краха, — хорошо, хорошо, не нужно кусать губы и конец ручки, — последней точки в твоём рассказе. Согласна, готова признать: нашего рассказа. Или, ввиду нескончаемости, — нашего романа — хотя роману-то как раз и положено закончиться. Поставь последнюю точку — и посмотри, окажется ли твоя фраза последней. Прислушайся к непрекращающемуся стуку на этом своём дереве: прекратился ли он?»

«Получается, тебя не волнует этот дятел, не

отличающий ни одного времени года от весны?»

Вопрос без ответа — разве это не ответ?...

Учительская указка спряталась в тёмном шкафу. Ржаные волосы потемнели — их закрыл от меня занавес безнадёжно высотных зданий, и дятлу не нашлось места на безлиственном дереве, а дереву не было места у скамейки...

Дятел так дятел, — подумал я и спрятал нечитаную книгу в шкаф.

Дятел как дятел...

«Ты по-прежнему не хочешь уйти? Тогда давай поговорим совсем уж откровенно. Мой, как ты говоришь, рассказ-роман, к деталям которого ты безразлична, весь — в твою честь. Тебя это не вдохновляет? Тебе не интересно узнать, что всё в нём — от названия до последней фразы — ты и о тебе? От последней фразы, какой бы незаконченной она ни казалась, до быстро и легко возникшего названия, ставшего наиглавнейшей фразой».

«Совсем уж откровенно? Тогда вот что: честь чересчур велика для меня одной. Хотелось бы, если позволишь, разделить её с твоей промокшей промокашкой, с твоим ищущим последнюю точку дятлом, с твоей скамейкой, откуда видна весна и слышно ржание коней в ржаном поле. Всем нам — не самое ли место под вот этим выцветшим названием — словно под деревом, из-под которого раздаётся сбивчивый, учащённый стук, словно

пригоршни монет падают на пол?»

«Ты и раньше умела формулировать и обобщать. Тогда добавь сюда и ветер, и дождь...»

На месте были все слова, и последняя фраза, по-моему, тоже.

«Ах да, чуть не забыла: дождь, высохший над моими волосами, не успев намочить их. И ветер, неспособный их растрепать».

Я устал от безответных вопросов.

«Послушай, тебя ведь не может не раздражать мой пульс, похожий на учащённый стук падающих на пол монет? Ты была вынуждена слушать его всё наше время — неужели это не повод уйти?»

«Имеет ли смысл упрашивать меня в надежде, что я проигнорирую твою просьбу? Лучше бы ты поставил точку в этом своём — нашем с тобою — романе и начал новый — а вдруг начнётся? Первая точка придёт легко и весело, сама собою, как любовь с первого взгляда. Разве что название... — опасаясь, как бы оно не повторилось».

Проблема в том, что первый взгляд никогда не оказывается последним...

Достать книгу из шкафа сегодня снова и уже не было сил: руки устали держать ручку и тетрадь, промакать непросыхающие чернила, и тем более — перелистывать страницы.

Я сделал усилие и вчитался.

Приютившее нас название на месте... И

последняя фраза вроде бы тоже...

Вот только квартира — как была, так и осталась, без двери.

Мольберт

Вопросительные знаки фонарных столбов перестали сутулиться и выпрямились в восклицание пустой утренней дороги, ведущей на север, к моему озеру. Почти бесшумно пролетел над озером самолёт, вот куда уже успевший долететь с тех пор. Мне казалось, что это я давным-давно запустил его, когда он был всего лишь самолётиком... Ленивый дождь полз, не в силах в такую рань пойти как следует, и постепенно уснул где-то в горах, спрятавшись за соснами, похожими на задутые под утро свечки.

Новая картина, кажется, постепенно вырисовывалась, — но, как всегда, я не был в ней уверен и устал от этой гнетущей неуверенности. Взяв этюдник, я спустился к моему озеру, напоминающему каплю дождя, растёкшуюся по ладони. Перелётный гусь гоготнул надо мной и перевёл настороженный взгляд собственника на равнодушную ко всему брэнному перелётную подругу. Гусь был хорош собой и мог бы отдалённо походить на лебедя, однако выглядел чересчур горделивым, и этим радикально от лебедя

отличался. Не следует считать своё происхождение, подумал я, — в том числе гусиность, большим достоинством, чтобы его, в конце концов, не посчитали недостатком.

Усевшись перед этюдником на любимую скамейку, я вздохнул поглубже и принялся рисовать. Островок, вода, простуженно хлюпающая у берега, вызывающая тёплое сочувствие радикулитная ива, проплывающие селезни с блестящими, подобно вымытым бутылкам, головами, невыспавшиеся утки, ёлки, сошедшие с миллиона новогодних открыток. И облака, как кусочки сахара в остывшем чае, не растворяющиеся в утреннем озере.

Чем дальше я писал мою картину, тем больше опасался, что она выйдет не такой, как я задумал, что ей будет недоставать одного-единственного штриха — или мазка — последнего, решающего, ставящего точку. Чтобы зрители увидели моё озеро так, как хотел я, и не сказали бы то, что всегда говорят: мол, так не бывает и на моей картине всё — неправда.

— Ваш мальчик любит метафоры, — оценивающе произнёс кто-то за спиной.

— Девочка, — машинально ответил я и обернулся.

Удивительно, что раньше я их не замечал. Двое художников, один несколько старше другого,

сидели за мольбертами, их картины перешёптывались, как шепчут, шелестят, шуршат октябрьские листья. Картины были непохожи, словно две капли воды, и это делало их похожими — словно те же две дождевые капли. Я легко понял этот язык, хотя, на первый взгляд, он не был моим. Правда, иногда знания языка недостаточно, чтобы понять: ведь если знаешь язык, ожидаешь услышать знакомые слова и фразы, — а это, увы — или к счастью? — не всегда происходит. Я отложил кисть, но тот, что младше, сказал:

— Раз уж вы пришли на это озеро, кисть откладывать нельзя.

Он снова посмотрел на мою картину и проговорил одобрительно, обращаясь к своему коллеге:

— Получается непохоже...

Я не успел обидеться, как старший добавил — неторопливо и убедительно:

— Согласен, нужно отдать автору должное. К счастью, он не старается отличаться или походить.

Младший приветливо кивнул мне, ставя точку, хотя я надеялся, что — лучше — запятую:

— Стараться быть непохожим или похожим — это фактически одно и то же, дружище. Продолжайте избегать и того, и другого.

Я обрадовался новому знакомству, взял отложенную было кисть и сказал первое, что

пришло в голову, чтобы поддержать разговор:

— А я вас тут раньше почему-то не видел...

Старший тоже улыбнулся и кивнул:

— Потребовались взаимные усилия.

Мы рассмеялись. Солнце тем временем вышло в люди и невыпеченным круглым кусочком теста повисло над островком. Утренний свет был цве та не совсем созревшего апельсина. Хозяин островка, бобёр, выбрался на сушу и поправил усы.

— Вы правильно определили возраст героини, — похвалил я моих новых друзей. — Впрочем, жаль: я хотел разгадать эту загадку для зрителя позднее. Желательно — в самом конце картины — когда найду завершающий штрих.

— Вы уже почти нашли его, — ответил младший. — Озеро на вашей картине видит девочка или мальчик: оно выглядит как капля, растёкшаяся на ладони.

— Если бы смотрел я, оно бы растеклось слезой по щеке, — негрустно, но и не очень весело, заметил старший.

Младший задумчиво затянулся сигаретой, не замечая пепла, падающего с неё точь-в-точь как пожухлые листья с клёнов, растущих по склонам гор.

— Меньше всего, — подумал я вслух, советуясь с ними, — на детали обращают внимание те, кто так же невнимателен к целому. В результате

их детали не складываются в целое, а целое превращается в незначительную деталь, каким бы важным ни был замысел.

— Замысел сам по себе не может служить оправданием результата, — с отстранённой иронией заметил старший из художников. — Главное — узнать и рассказать правду, какой бы фантастической она ни выглядела, и избежать фантастики, какой бы правдивой она ни казалась.

— Иногда, — пожаловался я, — фантастика выглядит такой простой, что понять её более чем непросто...

И добавил, подумав:

— Хотя сложность в том, что зрители зачастую предпочитают фантастически непонятной им правде фантастику, выглядящую соблазнительно правдиво...

Мой самолётик всё летел над озером, мы смотрели на него и думали каждый о своём, но, в сущности, об одном и том же: о том, что сейчас кто-то наверняка смотрит на нас из иллюминатора и мечтает спуститься сюда и пожить хотя бы недельку на бобровом острове, — но самолёт не останавливается и улетает.

— Почему же, — проговорил я, обращаясь к младшему из художников и всматриваясь в его полотно, — у вас на картине наш остров не в озере, а в море?...

Он снова затянулся и сказал печально:

— Когда летишь на юг, все озёра сливаются в океан...

По своей привычке обязательно возразить, особенно тем, с кем согласен, я хотел было выпалить, что на морском острове приличный — а наш был явно приличен — бобёр не прожил бы и недели, — но вспомнил о более важном и поделился с ними:

— Я в детстве больше всего на свете любил ездить на юг...

— Вот видите, — подтвердил старший, — мы все с юга: и этот гусь, и мы с вами, и самолёт, летящий домой, и свет цвета созревшего апельсина...

Бобёр закончил утренний туалет, прищурился, бросил на нас оценивающий взгляд и, не найдя ничего заслуживающего внимания, плюхнулся в воду по неотложным делам. Ошарашенная утка взмыла куда глаза глядят, возмущённо крякая на бобра и разочарованно — на не защитившего её бутылочного селезня.

— Впрочем, — продолжил я, глядя на картину старшего из художников, — возможно, их нелюбовь к правде объективно объяснима?... Вот, к примеру, — но только к примеру, — эта ваша картина. Ей тоже, по-моему, недостаёт последнего штриха: здесь сообщают какую-то тайну, но вы не

знаете, какую именно, и хотите, чтобы эту загадку разгадали зрители. Я попытаюсь найти её — для вас, чтобы вы нанесли последний штрих. Вот только если бы вы сказали, что разгадку найти можно и что она — единственная, искать было бы легче.

Художники переглянулись.

— Вы говорите как автор, — подбодрил меня старший.

— Нет-нет! — возразил я. — Я говорю как зритель — как ваш зритель! Разве вы пишете эту картину не для меня?

Младший снова затаился. Старший из художников ответил задумчиво:

— Я пишу картины для себя...

Младший добавил:

— Это необходимое условие того, чтобы написать картину, которая по-настоящему заинтересует не только автора и будет правдивой. Впрочем, недостаточное...

Старший продолжал:

— Вы хотите, чтобы я сказал, есть ли разгадка? Но ведь картина на то и картина, чтобы молчать. В этом её предназначение.

— Предназначение же автора, — сказал младший, — всего лишь передать предназначение картины.

— А вы не пробовали... — начал я и чуть

было не потерял дар речи от собственной смелости, — вы не пробовали писать не красками, а... словами?

Художники не возразили против моей идеи.

— Существенной разницы нет, — ответил младший. — Если картина написана словами, дописать её красками предоставляется зрителю.

— И уже от него зависит, — запальчиво добавил я, — сумеет ли он быть в достаточной степени художником, чтобы справиться с этой задачей, иначе художник превратится из художника в зрителя — собственной картины.

Мне захотелось развить эту мысль, но тут из кроличьей норки вылез, наострив уши, то ли кролик, то ли заяц.

— Самое отвратительное существо, — поморщился младший. — Люди, по крайней мере, разнообразны, их можно писать бесконечно, не повторяясь ни одним штрихом, а эти тошнотворные создания — все на одно лицо, — если это вообще можно назвать лицом.

— На редкость неэстетичен и сер, — согласился старший. — У него напрочь отсутствует скрытый план. Благодарен за солидарность, коллега, но всё же ваша оценка чересчур сурова...

Младший брезгливо поморщился и, стараясь не смотреть на кролика, что-то поспешно набросал на своём полотне, как бы избавляясь от

неприятного ощущения. Старший спросил заботливо:

— Неужели кролик и впрямь может производить такое сильное впечатление?

— Раздражающее преобладание ушей над лицом, — проговорил его коллега, не отрываясь от мольберта. — Но, по крайней мере, он может дать сюжет для небольшой картины. Премного ему за это благодарен.

Заяц и ухом не повёл. Он вынул из жилетного кармашка часы ещё не вошедшего в моду фасона и поспешил со всех ног туда, куда, кажется, опаздывал.

— О времена, о нравы!.. Так торопиться, чтобы забыть надеть пиджак, — вздохнул я, задумывая сюжет своей собственной новой картины и удивляясь тому, насколько сильно зайцы и кролики могут стимулировать творческое воображение.

Старший из художников неторопливо проговорил, обращаясь к своему младшему коллеге:

— Как вы сказали? Не повторяясь ни одним штрихом?...

Мы оба посмотрели на него. Он долго молчал.

А день между тем становился то ли тревожно, то ли убаюкивающе кофейным. Где-то в горах, за деревьями, устало помахивающими ветвями

перелётной гусыне, начинали зажигаться и разгораться огни. Гусыне было холодно, кожа покрылась пупырышками, огни там, внизу, не привлекали и не согревали и казались ей одним маленьким прощальным огоньком на тревожном, неизбежном, но желанном пути на юг. Над океаном, который кажется всего лишь озером, если сидишь на берегу у мольберта и на юг лететь не нужно...

Наконец он поделился с нами тем, что, казалось, беспокоило его:

— Я бы хотел найти один-единственный штрих, в котором уместились бы все штрихи и мазки...

— Все штрихи — один штрих? — задумчиво переспросил младший.

— Да!.. Я хотел бы написать картину, которая объединит все остальные — уже написанные и ещё даже не задуманные...

Младший затаился очередной сигаретой и возразил:

— Чтобы эти остальные стали ненужными? Но тогда нам с вами — и нашему новому другу — пришлось бы переписать все свои картины в одну, после чего — вовсе бросить писать. Думаю, последнее так же маловероятно, как и то, коллега, что вам удастся отыскать этот всепоглощающий штрих. Надеюсь, что не удастся, и мы не раз ещё порадуем сравнительно немногочисленных

поклонников, в первую очередь самих себя, и смутим сравнительно многочисленных недоброжелателей.

— В первую очередь — тех же, — грустно усмехнулся я.

Они не возразили и снова обратились к своим мольбертам — таким же, как мой, но не похожим на него и друг на друга.

Я смотрел на озеро и на свою картину. Там, за её пределами, моё озеро открывалось каждому по-своему, а здесь — его видела девочка, и мне оставалось нанести один-единственный штрих, чтобы дописать и досказать это, — но не такой, который сделает все остальные мои штрихи бессмысленными, а — наоборот — придаст им смысл. И смысл этот откроется всем, и тогда каждый зритель моей картины будет её союзником и соавтором, ведь когда размышляешь о чьей-то картине, тем самым создаёшь свою собственную. И каждый зритель увидит моё озеро так, как увидела его маленькая девочка, вместе с которой мы написали эту картину: капля дождя растечётся по её ладони, и кусочки сахара не смогут раствориться в остывшей воде. И эта моя картина расскажет зрителям правду, потому что не станет копией того, что изображает, ведь копия и подделка не могут быть правдой.

— Копия, — сказал младший из

художников, — это всего лишь бесплодная попытка изобразить результат.

— Зато правда, — подтвердил старший, — это успешное усилие понять процесс и разгадать причину.

Берега, склоны гор, вода, островок, деревья стали тёмно-кофейными, кусочки сахара растворились в потемневшей воде.

— Вы думаете, мне не стоит откладывать кисть? — решил я.

— Чувствуется неразрывность, — заметил старший. — Этим вопросом мы в своё время мучили себя, теперь — в своё — вы мучаете и себя, и нас? Это радует.

Младший улыбнулся, в последний раз на сегодня затягиваясь сигаретой. С неё упал огонёк, и я успел загадать желание.

— Приятная непрерывность. Что же касается сути вашего вопроса, то — главное — продолжайте ставить вопрос, и не только в конце, но и в начале, когда картины ещё нет. Тогда она наверняка будет.

Дождь неуверенно подполз и капнул знакомым коктейлем моего «Грота». Берега озера стали совсем фиолетовыми. Фиолетовых красок было так много, что ими можно было бы написать новую картину, и я уже знал, что обязательно напишу её, вот только найду последний штрих для этой.

Моих друзей становилось не видно в фиолетовом исходе дня. Перешёптывание их картин слилось с шорохом листьев, тихим хлопанием и редким всхлипыванием воды у берега, щелчками поленьев в каминах и откупориванием бутылок, и ещё сверчки без устали и перерыва строчили по какому-то своему игрушечному неприятелю. Я сложил этюдник и пошёл к своей машине.

Идущая мимо девочка направлялась туда, откуда приехал я, — туда, где уже вставало солнце, похожее на только что испечённое, ещё горячее печенье, а в ладони у неё светила капля воды, похожая на моё озеро. И я понял, что последний, главный штрих должен нанести на мою картину не я, а мой зритель, и у каждого зрителя этот штрих будет не похож на другие, и именно это сделает все штрихи похожими друг на друга, именно это сделает их единым, единственным штрихом.

— В твоей руке наше озеро становится ещё загадочнее и понятнее. Все вместе мы обязательно дорисуем его, — пообещал я ей.

Чтобы шаги не мешали слушать, дождь перестал идти и прислушался.

— А вы художник, правда? — с надеждой спросила она.

Я поехал всё той же дорогой на север. Иногда останавливался, чтобы спуститься к моему озеру и

продолжить свои неразрывные — непрерывные — картины. Я знал, что буду писать их — красками, запахами, словами, звуками. И мечтать о том, что вопросительный знак — не сейчас, а хотя бы когда-нибудь — перестанет сутулиться и выпрямится в восклицательный. Или просто исчезнет, и от него останется одна точка, делающая вопрос и восклицание такими похожими друг на друга.

Я знал, что дорога будет разной. Иногда она будет шелестеть под шинами моей машины, как шуршат октябрьские листья под ногами. Или устало вздыхать, отзываясь на тихое повизгивание колёс старой сельской брички. Иногда — тысячи несбыточных серебряных совершенов будут звякать и цокать о её брусчатку...

А время перелётной гусыней будет лететь в обратную сторону, через подобное океану озеро и, судя по всему, не захочет возвращаться в чудесные, холодные края.

Свободное падение

Моим друзьям, которые — так уж получилось — со мной незнакомы.

В моём домике зимой и осенью тепло, хотя цвет у домика — слоновой кости, ко всему

безразличный и весьма холодный. Или так только кажется?

Тепло, наверное, потому, что сосед за стеной топит камин чем-то хорошо горящим, вот и мне немного достаётся жару. У меня нет своего камина — я почему-то недолюбливаю огонь, хотя повсюду говорят, что на него можно смотреть бесконечно. Может быть, дело не только во мне, но и в этом самом огне? Что-то же в нём есть?...

Пока у меня — лето. Я побаиваюсь его, потому что оно, как ни загадывай, закончится, причём гораздо быстрее, чем началось. И тогда, вместо него, начнётся осень — свободное падение в сон, в любовь, во всё, что переходит в зиму... Я боюсь лета, потому что оно — ожидание осени. Впрочем, убеждаю я себя, осень хороша тем, что чем скорее упадёшь в неё, тем скорее, рано ли, поздно ли, придёт лето. Как не прийти? И падать в него не придётся, оно возьмёт и придёт ко мне, без напоминания, само по себе.

И тогда можно будет выбраться из моего домика цвета слоновой кости и забыть о нём на незабываемую, бесконечную, пусть и совсем короткую вечность. — Забыть острые — ранящие, царапающие, колющие, неизбежные углы. Не избежные.

Забыть этот цвет, забыть этого соседа, вечно растапливающего свой камин, — откуда он берёт

дрова, а если топят не дровами, то чем же?

Забыть о том, что лето совсем уже скоро — нет, ещё вечность впереди — упадёт когда-нибудь в ненужную мне, бесполезную осень... В осень, только тем и запоминающуюся, что чем скорее упадёшь в неё, тем скорее выберешься — новым летом, обновлённым.

Летом дни — разные, похожие и непохожие друг на друга, как один человек на другого, как другой на третьего. А после лета они, словно собравшиеся в толпу люди, становятся все на одно лицо.

— Как хорошо, что нужно уехать — потому, что можно вернуться. Что может быть лучше, чем возвращаться?

— Подумай хорошенько — и в конце концов наверняка поймёшь — что.

Там, куда я уйду, куда я уеду, лето не закончится: я встречу осень, вернувшись.

Здесь, куда я приеду, залив играет камешками, как на струнах.

— Или на клавишах?...

Ах да, как же я не понял: это страницы моей новой книги, ещё не написанной, ещё не пахнущей новой книгой.

— Значит, нас уже двое — а я-то думал, что кроме меня, к ним ещё никто не прикасался. Не знал, извини, пожалуйста.

— Первый приезд только увеличивает незнание Настоящее начало всегда начинается со второго. Второй раз — это и есть начало. Начало узнавания. Или конец незнания — смотря как посмотреть.

Ступенька кудахтнула старой, зажмурившейся курицей, и залив протянулся ко мне хотя и строгой, но зато спасительной рукой.

Море устало махнуло волной на пропахший водорослями залив. Заливу холодно даже сейчас, он согревает свои влажные пальцы — если прислушаться и помолчать, даже не шептать, а слушать — услышишь. Время от времени, так и не согревшись, он с раздражённым равнодушием выходит из берегов, и тогда вся — у неё столько незапоминающихся названий — вся заливная рыба послушными стаями несётся в заранее расставленные сети... Стае полагается быть послушной, на то она и стая... Уплывают только те — как же они называются? — которым удалось выйти из строя.

Птица, словно вырезанная из тонкого чёрного картона, бесцельно парит, заменяя жару, которой здесь нет поэтому. Дальше — маяк, похожий на серьёзного мальчишку в красной бейсболке. А у самых ног — гриб, отдалённо напоминающий оставшийся в стороне маяк.

Горы, свой густой шевелюрой похожие на

студентов — вечных студентов — свысока смотрят на залив, иногда не замечая его сквозь туман, осторожно, чтобы не поскользнуться, спускающийся с них к воде. Вот он с трудом добрался до залива, дотронулся до воды и, повисев над ней, благополучно, безобидно тонет — до следующего раза.

Не хочется уходить, пока не найду в заливной воде облепленную водорослями бутылку.

Нет, не так. Хочется уйти, потому что в бутылке может не оказаться записки. Или потому что мне не удастся разобрать, что там написано.

Неподалёку от залива притихло Овечье озеро...

— Не так уж и неподалёку. Неужели мне не положено быть самим по себе? И пожалуйста: обойдёмся без снисходительных и уменьшительных суффиксов, плыви себе, и всё, договорились?

— Какое же ты Овечье? — выплеснулось не так чтобы издалека. — У тебя нет ни единого, даже самого заваливающего, барашка, не то что у меня, хотя я так не называюсь.

— Вот именно: какое же ты Овечье? Вода в тебе не белая, тем более не бирюзовая, — а красноватая, пивная — вот руки покраснели, словно подгорели на брызжущем здоровьем солнце. Хотя на солнце они совсем даже не красные.

— Побудь тут с моё — наверняка поймёшь. А

словами разве объяснишь?

Я знаю, что можно объяснить не только словами. Как жаль, что я иначе не умею. Да и словами умею не всегда. Не от меня это зависит.

— Не оправдывайся. Плыви и не думай о словах. Они приходят именно тогда, когда о них не думаешь.

Я знаю. Когда думаешь — они уходят. Во всяком случае, когда думаешь под треск камина...

Тучи тёмно-серой шляпой надвинулись на насупленные брови тропинок, ведущих с гор и берегов к заливу. Дождь нежданно-негаданно свалился на голову, словно перезрелое яблоко упало с яблони: хочешь — не хочешь, а сделаешь какое-нибудь вечное открытие, такое простое, словно открыл дверь, выходящую на залив. Например, то, что заливный воздух насыщен привкусом подзабытых детских пряников.

А может быть, я придумаю — сам для себя — новые имена, — и дам их цветам, давно выросшим из своих заношенных, затасканных, занюханных цветочных названий.

Дождь уходит, и с ленивой насмешливостью меня окутывает, укутывает — чтобы снова не замёрз? — не боящийся ничего, кроме залива, надоедливый и ненужный, как заброшенный маяк, зной.

— Приходи вечером — увидишь, что я вполне

ещё сгожусь на дело. Это днём я отбрасываю тень, зато ночью — совсем наоборот. Придёшь?

Здесь не замерзается. Вот и дождь ушёл.

Зато залив — залив никуда не уйдёт, ни за что никуда не денется. Куда ему подеваться — от самого себя, а главное — от меня? Разве что привычно обидится на что-то, отступит от берега — вместе со спустившимся с Луны с отливом, — но вскоре передумает, забудет и о пустяшной обиде, и о надоевшем отливе, новым приливом прильёт к берегу, словно краска к щекам, а значит, снова придёт ко мне.

— Придёшь?

Не уйдёт, скорее уж я уйду. Скорее...

Там, на той стороне — зеркальное, как устоявшаяся вода, отражение моего нынешнего берега, непохожее на противоположный, как обычно происходит с зеркалом. Но и так же похожее. Не поймёшь, где оригинал, где — всего лишь отражение...

— Всего лишь?

— Впрочем, кто и когда бывал вполне доволен своим зеркальным отражением?

Берега всматриваются друг в друга, словно оригинал в отражение, или отражение — в оригинал, — и длится это уже так долго, что они и не помнят, наверное, кто из них кто. Думаю, если бы я так же долго смотрелся в зеркало, с нами бы

произошло то же самое.

Заливу они необходимы не меньше, чем один другому. Без берегов от безбрежности залива не осталось бы и следа на заиленном песке. Отними берега у залива, и он тут же превратится в бесформенную, растёкшуюся, расплывшуюся кляксу на этой старой карте из серьёзной, нешуточной игры... Из игры с совсем неигровыми правилами.

Сосед по-прежнему растапливает свой камин. И огонь похрустывает не деревяшками, не углями, а, кажется, страницами не сумевшей выйти в свет книги.

Выйдет? Сгорит?

— Нет, конечно. Каждая страница пропитана водой залива, поэтому она никогда не сгорит, сколько бы ни старался сосед, от которого тебе никуда не деться, как моим берегам друг от друга, а мне — от них.

— Можно не умять? И Овечьего озера — тоже.

Спасибо! Я хорошенько подумал — и, кажется, понял, что.

Чёрное, серое, белое

Короткий рассказ — фрагменты большой

ПОВЕСТИ

Мама. Помню!

Мы тогда жили в Козельщине. Козельщина для меня — это как Касриловка для Шолом-Алейхема, только Козельщина, в отличие от Касриловки, есть на самом деле, и она не еврейское местечко, а украинское село. Ну, и я, понятное дело, не Шолом-Алейхем.

Мы в Козельщине были, наверно, единственными евреями. Маму из Харькова в Козельщину отправили по распределению работать адвокатом, а отца — врачом. А я был с няней.

Маму очень уважали. Иногда её возили на бричке. Она была заместителем главного адвоката всей Козельщины, и однажды взяла меня с собой в суд в Полтаву. А ведь ей было всего лишь 25 лет.

В Козельщине можно было целыми днями играть в Чапаева, только для этого нужно было надеть пальто, как бурку. И можно было прятаться в малиновом кусте. Когда тебе три или четыре года, малины хочется сильнее, чем когда тебе пятьдесят, хотя и в пятьдесят её тоже хочется, особенно если к ней пристрастился, когда тебе было три или четыре года.

Однажды я просидел в малиновом кусте с утра до вечера и не откликался на нянин зов. А когда мама вернулась домой с работы и я вылез из

куста, у меня от малины высыпала сыпь по всему животу. Говорят, если чего-нибудь переестся, то потом этого никогда больше не захочется. Наверно, имеют в виду не малину. Сколько я ни обедался малиной, так до сих пор не переелся.

Мама. Не помню. Ах, да, конечно! Помню!

Мама и здесь, в Козельщине, и потом в Харькове, была большой модницей. Помню эту её игривую шляпку и платье — оно называлось панбархатное. Сейчас таких названий нет, и платьев тоже.

Хорошо хоть малина осталась.

Отец. Помню!

Отец был главным врачом всей Козельщины, хотя ему было всего лишь 28 лет. У него был свой кабинет в козельщинской поликлинике. Как и маму, отца знала и уважала вся Козельщина, потому что мама защищала, а отец лечил. Как же было их не знать и не уважать?

Отец любил красиво одеться. Тогда в моде были такие брюки — клёш. Чем шире клёш, тем, как бы сейчас сказали, круче. Раньше, правда, так не говорили.

Помню! На Первое мая отец купил мне шарик, надул и завязал. Не помню, какого цвета. Наверно,

красный. На отце были эти брюки клёш, а у меня на голове — почему-то такая косынка, а в руке шарик. Мы шли, наверно, по центральной улице Козельщины, после первомайской демонстрации. Сейчас уже нет первомайских демонстраций, зато все шарики — цветные.

Козельщина была Украиной в миниатюре. Там говорили по-украински, только не на суржике, а красиво. Очень красиво, иногда даже лучше, чем просто правильно. К родителям по-украински обращались на «вы», а по-русски — на «ты». И фамилии у людей были настоящие украинские. А украинская фамилия — это как сахарный кавун. Украинское село пахнет цветами, чистым домом, сахарным кавуном и украинскими фамилиями. Например, один из наших соседей был Обидион, а другой — Архиеволокоточирепопеньковский.

Потом мне как-то приятель говорил, что знал человека по фамилии Череззаборвысоконогопереносяйло. Не «ногу», а «ного».

Родители. Помню!

Мама, хотя и была ещё очень молодой, уже знала, что народу всегда хочется отблагодарить доктора. Тем более такого замечательного доктора, который каждого пациента и выслушает сколько надо, и вылечит. Не было ни одного случая, чтобы

отец не вылечил. Конечно, отблагодарить было святое дело. Как не отблагодарить? Мама поэтому всегда говорила отцу, чтобы он не брал подарков. Во-первых, это ни к чему, а во-вторых, ни к чему хорошему не приведёт.

Отец и так не брал, и не взял бы ни за что, а они всё равно несли.

Однажды старенькая бабулька, которую отец перед этим вылечил, принесла ему в кабинет оклунок. Как всегда на Украине — в белоснежном платке, аккуратно завязанный. Положила на стол, развязала.

— Угощайтесь, — говорит, — дохтур.

Отец был человеком африканского темперамента. Пришлось старой взяточдательнице уносить не очень уже послушные ноги. А вдогонку ей летели жареная курица и верхнее «ля» дохтура — мой отец очень здорово пел и умел брать любую октаву, например, в неаполитанских песнях.

— Ещё что-нибудь заболит, — громогласно сообщил отец бабульке, — приходи, вылечу. Только с пустыми руками приходи. А курицу свою — правнучке отдай.

Все фельдшеры и сестрички спрятались по кабинетам: курица летела со свистом фугаса. В козельщинской поликлинике коррупции не было места.

Отец рассказал это маме за обедом. Я с

пониманием слушал, заедая горячий борщ холодной котлетой. Это очень вкусно, кто пробовал.

Почему-то сейчас вспомнил: во взрослые, но ещё не умные годы, когда о чём-то спорил с отцом, он иногда говорил: был такой маленький, сидел себе на горшочке. А теперь вырос — имеешь собственное мнение. И улыбался. Я тоже улыбался. Представлял себя на горшочке — это было смешно. В отличие от собственного мнения.

Бабушка. Помню!

Это мамина мама. Она была инженером-строителем, причём очень хорошим, если не самым лучшим. Например, бабушка построила в Армении, на озере Севан, самую большую в мире электростанцию. То есть, конечно, не сама построила, а целый институт, а она в нём была главным инженером проекта.

Бабушка возила меня по разным замечательным местам: в Крым, в Ленинград, в Прибалтику. Она говорила:

— Когда меня не будет, ты будешь вспоминать: была у меня бабушка, и она меня везде возила.

Вот я и вспоминаю. А тогда мне это казалось какой-то далёкой метафорой. Я не понимал, что значит — «когда меня не будет»? Теперь понимаю.

Бабушка была очень сильным, волевым человеком, даже немного властным. Моего отца — своего зятя — она поначалу не воспринимала, и даже иногда не замечала его. Считала, что единственная дочка — моя мама — заслужила лучшей партии. Это, наверно, потому, что мой отец происходил из не очень выдающейся семьи. Но когда отец стал уважаемым человеком, бабушка его тоже зауважала.

Вообще-то я не помню никого, кто бы не уважал моих родителей.

Бабушка, мама.

Когда мы вернулись из Козельщины в Харьков, я пошёл в детский садик. То мама, то бабушка укладывали меня по вечерам спать и пели мне песенку, чтобы я уснул. Каждый раз я себе говорил: вот возьму и не усну! И всё равно засыпал. Песенка была каждый раз такая, что попробуй не усни...

Интересно, если бы мне сейчас спели такую песенку, я бы уснул? Думаю, уснул бы. Как не уснуть?

Родители. Бабушка. Дедушка.

Были мы как-то с родителями в гостях у бабушки и дедушки. История случилась незабываемая. Помню: мама стоит у окна, все

остальные — отец, дед, бабушка, я — кто сидит, кто стоит. Мама принялась рассказывать о своей работе — она теперь работала юрисконсультom на заводе.

— У нас, — начала мама, — работает хороший парень, Саша, альпинист...

Тут бабушка нахмурилась и задумалась. Мама, зная бабушкин непредсказуемый характер и готовясь к неожиданностям, спрашивает:

— Мама, что случилось?

Бабушка поджимает губы и пожимает плечами:

— Ничего не случилось.

— Нет, ну я же вижу — ты чем-то недовольна, — говорит мама. — Что случилось?

Бабушка опять пожимает плечами:

— Ничего не случилось. Просто фамилия странная. — И снова поджимает губы.

Последовала непродолжительная пауза, и тут у мамы началась реакция — истерический хохот. Такой хохот мне достался от мамы по наследству. Помню, однажды по телевизору показывали Райкина, и я упал с кресла на пол. Так хохотал — думал, не встану. И у мамы начался такой же приступ. Но что ужасно — мама вдохнула, а выдохнуть не может. Жутко покраснела, слёзы на глаза навернулись, внутри хохочет, а наружу это никак не выходит. Кошмар. Застыла на месте, лицо

красное, слёзы текут, хохот душит. Ни рассмеяться, ни с места сдвинуться не удаётся.

Мы перепугались на смерть. Отец из-за стола выскочил, подбежал к маме, хлопает её по спине. Что делать — непонятно: то ли скорую вызывать, то ли воды давать. Но как дашь воды, если у мамы рот не может ни открыться как следует, ни закрыться. И просмеяться она никак не может.

Наконец-то получилось у неё расхохотаться, и мы все тоже вздохнули с облегчением. Так смеяться — никакой пользы для здоровья, один вред. А бабушка, снова поджав губы, тихо говорит:

— Не вижу ничего смешного.

Тут уж мы все грохнули и покатались со смеху.

Дедушка.

Мой дед был одним из лучших людей на свете во всей моей жизни. Главным и единственным его грехом было то, что он курил. Запрещали ему курить все, но в основном — бабушка. Деду приходилось курить тайком, прятать папиросу в рукав, не подавать виду. Дед курил папиросы — тогда хороших сигарет не было. А может, он и не стал бы курить сигареты, даже очень хорошие, я не знаю...

Мы с дедом каждое воскресенье утром ходили на марочный базар и покупали мне несколько

марок. В основном — колоний, с портретом короля или королевы. Первые три марки, с королевой, мне подарила мама, и с тех пор я собираю марки и люблю, чтобы на них были королева или хотя бы король. Без королевы или, по крайней мере, короля марка не марка, а так — знак почтовой оплаты.

А после марочного базара мы возвращались к бабушке, она кормила нас обедом, и я уходил играть в футбол или кататься на лыжах с маленькой горки.

С бабушкой и дедом мы часто ездили в Крым. Моё детство прошло в Крыму — в Феодосии, Евпатории, Алуште. Там меня бабушка и научила плавать, а дед плавать не умел, только стоял по колено в воде и следил, чтобы я не утонул. Когда мы шли на пляж, у меня на голове была такая войлочная белая шляпа. Она мне очень нравилась, хотя в ней было жарковато.

Однажды, когда мы поехали с дедушкой в Феодосию, с нами приключилась интересная, но холодящая душу история.

Снимали мы комнату на двоих: я спал на одной кровати, а дед на другой. Комната была удобная, с белыми стенами. Только стены эти были такие тонкие, что всё было слышно. Жилось нам замечательно. Море — совсем рядом. Днём отдыхали, потом опять шли на море. Уставали за день сильно — я от купания, а дед — от

наблюдения, чтобы со мной ничего не случилось. Потому и не случилось, я думаю, что дед очень внимательно наблюдал.

По вечерам разговаривали во дворе с хозяйкой и соседями, спать ложились, когда уже совсем стемнеет. На Украине ночи тёмные, даже чёрные. И звёзд столько, что некоторым не хватает на небе места, и они падают. А тишина — как будто пели украинскую песню и вдруг замолчали, и песня повисла в небе, и теперь только кузнечики стрекочут.

Дед жутко храпел. Ложился всегда на спину, а на спине всегда храпится сильнее, чем на боку. Вообще-то на боку тоже храпят, но на спине сильнее. Такого храпа я больше никогда не слышал, хотя храпят многие. Дед храпит, храпит, а потом вдруг — как рявкнет, — и снова храпит. Ночью в комнате — ужас как страшно. Утром, бывало, скажешь:

— Дедушка, ты сильно храпел.

А дед искренне удивляется:

— Я храпел? Я никогда не храплю!

Человек никогда не замечает, что храпит, и убедить его в том, что он храпел, невозможно. И разбудить деда было тоже невозможно. Когда дед спал, то, как говорится, хоть из пушек стреляй.

Поэтому я старался уснуть первым, чтобы не слышать, как дед начнёт храпеть. Когда спишь,

храпения уже не слышишь. А вот если не успеешь первым уснуть, то потом от храпа не уснёшь.

И вот однажды мне не удалось опередить деда. Он вообще-то засыпал, как и я, моментально, и на этот раз успел меня опередить. Ну, то есть не успел, а как-то взял вдруг и уснул раньше меня. А уснув, принялся храпеть. Храпит, храпит и рывкнет. Храпит, храпит и рывкнет.

Мне ужасно хотелось спать. В комнате было темно и, если не уснуть, — грустно. А как уснёшь при таком храпе? Я проворочался в постели несколько часов. И посвистывал, и покашливал, и пальцами щёлкал — всё, чтобы деда разбудить. Не получается, хоть плачь. Не мог же я встать, подойти к деду и сказать ему на ухо: «Дедушка, не храпи, пожалуйста». Потому что я боялся, что дед испугается и вскочит.

И тогда я решил залезть к деду под кровать и попробовать разбудить его оттуда. Тихонько залез. Лежу и смотрю — кровать провисла: дед был лёгкий, но всё-таки кровать провисала, ясное дело. Стал я потихоньку толкать деда снизу. Не слышит. Я и кашлял, и свистел, и снова толкал. Бесполезно, не слышит. И храпит — сильнее прежнего.

Под кроватью темно, холодно, одиноко. Набравшись храбрости, я высунул руку из-под кровати и потянул деда за что-то — то ли за руку, то ли за нос. Наверно, всё-таки за нос. Дед в ужасе

как вскочит, как закричит:

— Мишенька, ты где?!!

А я от страха молчу. Дед — к выключателю, включил свет, бросился к моей кровати, — а меня-то там нет. В комнате — яркий свет, дед бегает по комнате, ищет меня и не находит. Я забился под кровать у самой стенки, и так мне страшно, что и сло ва не могу выговорить. Наконец набрался храбрости и отзываюсь:

— Я здесь!

Дед не понял.

— Где ты?!! — кричит.

Тогда я вылез из-под кровати. Дед в ужасе:

— Что с тобой случилось?! Почему ты под кроватью?!

Я весь трясусь от холода:

— Ты, — говорю, — храпел, я тебя хотел разбудить...

Дед уже не знал, чему больше удивляться: то ли тому, что я оказался под кроватью, то ли тому, что он якобы храпел. С трудом после этого уснули, но зато до утра не просыпались.

А соседи утром были очень рады узнать, что к нам, оказывается, никто не залез через окно и никакого погрома не было. Просто ребёнок оказался под кроватью — мало ли что в жизни случается.

Я помню все фотографии в этом альбоме. Они чёрно-белые и серо-белые, некоторые с жёлтыми пятнами. Но всё равно они очень красивые. Я смотрю на них — и вспоминаю.

И о том, как мои родители, которые были жуткими футбольными болельщиками, меня приучили к футболу, и однажды на игре нашего «Авангарда» с московским «Спартакoм», когда Николай Королёв ударил мимо ворот, мама взвизгнула, подпрыгнула и хлопнула из всех сил по колену — только не своему, а соседа по трибуне. Но он ничего не сказал. Как я теперь понимаю, получить по колену от такой красивой женщины — это даже приятно.

И о том, как отец изобретал всевозможные приспособления, чтобы лечить мне руки после болезни. Потом врачи говорили, что непонятно, как я после этой болезни выжил. А мне вполне понятно, как: благодаря им и моим родителям.

И о том, как девочка тонула недалеко от берега, и я хотел её спасти и сам чуть было не утонул, и бабушка спасла нас обоих. И как мы с бабушкой играли на пляже в футбол — она мне била по воротам, а я отбивал. И как она однажды заплыла вместе с нашей квартирной хозяйкой на

несколько километров от берега, а мы с дедом махали им руками и кричали.

И о том, как отец, почти перед самой своей смертью, сказал мне:

— Очень мне стыдно, что когда ты был маленький, я тебя однажды отшлёпал.

А я ему ответил, что ничего такого не было, потому что он меня никогда не шлёпал. Я и сейчас так думаю, совершенно в этом уверен. Он просто что-то напутал. Жаль, я не успел его переубедить...

В этом альбоме ещё много пустых страниц. Мои дети поставят сюда новые фотографии. А потом — их дети, и дети их детей. И так мы всю жизнь будем вместе.

То есть не только жизнь, а... Я пока не знаю, что это. Но будем вместе — там и в альбоме.

Мост

И долго слушаю, как
ты молчишь...

Афанасий Фет

Ничего не поделаешь: всё равно придётся ставить точку... Сейчас она не помешает, наоборот.

Сейчас — я её уже заждался.

Вообще-то рано отличается от поздно так мало, что заметить эту разницу успеваешь лишь тогда, когда одно как-то неожиданно становится другим...

Речка, подобно грозди воздушных шариков, прыгала по камешкам.

Не так: казалось, что маленькая, ещё неловкая девочка выпустила свой шарик и он, вместо того, чтобы взлететь, упруго запрыгал с одного мокрого камешка на другой. А девчонка побежала за ним вдогонку, подпрыгивая и хохоча, — да разве догонишь вырвавшийся на волю шарик! Кому и когда это удавалось?

И не оттого ли так весело? Смешно и совсем не жалко. Пусть летит себе, раз уж ему невтерпёж полетать. Зато есть уважительная причина побегать.

— Торопись! — подмигнул я девочке, продолжая сочинять о ней очередную историю. С натуры всегда здорово сочиняется — если не ошибаюсь... — Как видишь, спешка нужна и при ловле шариков!

Девчонка до слёз рассеялась и забрызгала весёлыми слезами мой блокнот:

— Хочешь помочь? Присоединяйся!

Я хотел, но, как водится, не решался, и она пришла мне на помощь, изменив тему:

— У тебя, я вижу, всё та же ручка.

— Спасибо тебе, — сказал я. — Это был незабываемый подарок.

Она кивнула маленьким гребешком:

— Мне нравятся ручки с разноцветными чернилами. Жаль только, их нечасто находишь. Эту, твою, уж не помню, кто обронил — намеренно или случайно... А серые никто не роняет — они нужнее их обладателям. Только им и нужны.

И она, снова рассмеявшись, заторопилась за своим шариком, перескакивая с камушка на камушек, не переставая хохотать и брызгаясь, как и полагается маленькой девочке.

Слышать это было приятно, потому что ведь довольно привычно.

— Главное — не привыкнуть, — посоветовала мне девочка. — Иначе ручка из разноцветной превратится в ту самую — обычную серую. В меня такую ни разу не бросили, но всё равно сразу бросается в глаза, где какая. У них нет ничего общего, одно название. А что может быть случайнее названия?

Девочка немало повидала на своём веку и, думаю, знает, о чём журчит. Ручка, как мне иногда говорят, действительно оказалась разноцветной, разве что названий этих цветов я не знаю. Впрочем, кто их знает? Да и есть ли они, если вдуматься, эти самые названия?

А если и есть, что может быть случайнее?

Точнее говоря, краски наверняка как-то называются, но совсем не теми словами, к которым мы привыкли, так что названий у них, скорее всего, и нет...

— Ты всегда спешишь, — проговорил я назидательным тоном, как мне и положено разговаривать с маленькой девочкой, потом улыбнулся ей и добавил:

— Спешишь, но, убегая, всё-таки остаёшься. У меня бы так не получилось.

Она кивнула, перепрыгивая через очередной порожек:

— Море не ждёт, приходится спешить и обходиться без отдыха.

Подумала и уточнила:

— Впрочем, ждёт, конечно. К счастью, ждёт... И ты тоже — вот и приходится спешить туда и не спешить отсюда.

Я вдохнул речной воздух и совсем не позавидовал ей — меня ведь тоже ждут.

Просто смотрел и видел: прохожие, случайные и неслучайные, останавливаются, долго молча выглядываются в неё, ищут что-то среди камешков и гребешков, прислушиваются к шлёпанью детских ног, спешащих за улетающими воздушными шариками цвѣта моих разноцветных чернил.

Уходят.

А отражения их лиц остаются в спешащей, убегающей от них воде, даже ночью, когда та бывает непрозрачной и в ней, казалось бы, ничего не способно отразиться — разве что остаться навсегда.

Они и остаются...

Я вздохнул:

— Слушай, как замечательно, что ты у меня тоже оптимистка. Быть оптимисткой, я думаю, ещё сложнее, чем, убегая к морю, оставаться со мной?

Она прыснула мне в лицо мокрыми смешинками:

— В меня такого надумывают, такого насматривают... Попробуй, обойдись без оптимизма. И всё надуманное приходится уносить подальше отсюда и поскорее утопить в море. Ты думаешь почему оно такое солёное?... Но это ещё что — другие на его месте прогоркли бы или вообще высохли — от всех случайно или намеренно обронённых в меня мыслей. А ты думал, ему, моему морю, всё нипочём? Думал, его выручает его нейтральный средний род... Да и так ли уж легко — быть нейтральным?

Не возражалось... Нелегко и не хочется возражать этой вечно убегающей и вечно остающейся со мной девчонке.

Да и зачем возражать? Как хорошо, что, убегая, она всегда — тут как тут, и с ней всегда

можно поспорить, не возражая и не наталкиваясь на возражения, или перепрыгивая через них так же, как она беспрепятственно перепрыгивает через свои невысокие, неопасные порожки. Что может быть приятнее, чем спор без возражений и желания убедить?

Как это здорово: спор — без необходимости возразить.

Я снова присмотрелся к ней, внимательно сравнил с тем, что у меня получилось на просыхающих на солнце блокнотных листках. Вроде бы похоже. Вроде бы — слово в слово...

— Знаешь, — сказал я, — мне раньше казалось, что ты гораздо меньше. Думал, что ты коротышка, по правде говоря... Но вот получилось иначе.

Она заглянула в мой блокнот, перепрыгнула через порожек, словно влетая к себе или ко мне в дом, и весело прошелестела в ответ:

— Если бы ты знал, сколько мне лет! Я уж и не помню, в кого вымахала и когда вытянулась.

Как всегда тщетно, я попробовал разглядеть, откуда и куда она протянулась.

— Ага, теперь понял! — развеселилась она и принялась безобидно дразниться и пениться. — Вот тебе и маленькая! Где ты видел кого-нибудь длиннее?

Как недавно она перевела разговор на другую

тему, так и я перевёл взгляд на подходящих, молча вглядывающихся — в неё ли, в себя ли, в уходящих от неё, в приходящих к ней снова.

— Знаешь, — пенно и ветрено вздохнула девочка, — пустые бутылки и окурки, да мало ли, — это всё так незначительно и безобидно, хоть и раздражает, конечно. От такой ерунды легко избавиться: им помогаю я, мне помогает море. Даже письма, ещё ненужные или, наоборот, уже необходимые, — разве это беда? Разве беда то, что ты выбросил, прежде чем ненадолго или навсегда уйти своей дорогой? Конечно, мне немного неприятно, перед тобой притворяться не буду, но им так нужно — ну и пусть. Мы с моим морем им поможем. А вот мысли, которые они в меня порой — да что уж там — так часто то роняют, то швыряют, то выбрасывают, — эти их обронённые, вышвырнутые мысли остаются — и во мне, и с ними, и с этой тяжестью мне не справиться, не унести, разве что донесу её до моего спасительного солёного моря, и морская вода с каждым разом станет ещё более солёной и ещё сильнее будет отдавать не речной и не морской горчинкой, чтобы моя осталась чистой и почти сладкой — для всех, кто приходит ко мне... Ты бы написал в своём блокноте о море. О том, что моим прохожим помогаю я, мне помогает моё море, а морю — кто же поможет?... Напиши. У тебя для этого есть всё

необходимое: найденная мною для тебя цветная ручка, просохший под солнцем блокнот. И я, конечно.

И ты тоже, — подумал я. — Если бы не ты...

Шарик улетел — как всегда, рано или поздно, случается с любым воздушным шариком. Что это за шарик, если не может улететь? И девочка, снова убегая и снова оставаясь, добавила:

— У тебя действительно хорошая ручка. Значит, я могу надеяться, что ты запишешь всё слово в слово.

Дождь капнул мне в блокнот двумя точками, рядом с той, первой и, как я сначала думал, вроде бы последней. Теперь их было обнадеживающе три...

— Разноцветные, — улыбнулась девочка.

Её мама, покачав головой, сделала ребёнку замечание:

— Нехорошо. Нельзя подглядывать, нельзя заглядывать в чужие блокноты.

Кто-то из нас — девочка, я, или вовсе заморосивший дождь — кто-то из нас возразил:

— Да разве же он — чужой?

Шарик не торопился вырваться из рук девочки: вот выйдет солнце, тогда — совсем другое дело. А сейчас — что толку?

Я закрыл блокнот — не от них, конечно, от дождя. Щёлкнул зонтиком, ненадолго попрощался

и пошёл домой, унося свой новый рассказ и оставляя его всем проходящим мимо.

Подсолнухи

Погадаем...

Черепашовая мостовая с послушной уверенностью вела нас к моему кафе, — пока ещё только моему.

Мы шли совсем не торопясь, почти черепашим шагом, ведь моему кафе ещё только предстояло появиться. Пробиться жёлто-оранжевым светом — и тогда, возможно, оно так понравится, что его построят. И выложат черепаховую мостовую, чтобы в кафе хотелось прийти.

Прямо на мостовой поставят летние круглые столики. И позволят приносить с собой свечу с таким же оранжевым пламенем, и в этот поздний — или, наверно, ранний час за столиком будет не только светло, но и привычно — по крайней мере, нам с нею.

Она ревниво заметила — мне очень хотелось, чтобы ревниво — поэтому она ревниво заметила:

— Ты держишь свечу так бережно, как никогда не держал мою руку... Скорее всего, это потому, что ты считал, будто от моей руки нельзя обжечься, верно? Так вот: чтобы не обжечься,

старайся думать не о свече, а о том, где её поставишь. О том, кому она предназначена. Твоя свеча ведь предназначена хотя бы кому-то?

Одной рукой я держал её за руку и всё равно опасался, как бы свеча ненароком не обожгла мне вторую. И старательно делал всё возможное, чтобы кафе появилось под этим открытым небом, поэтому и не ответил на её, как всегда, риторический вопрос.

В это открытое небо, чем-то напоминающее такое же — кем-то, мне не известным, — открытое море, улетели с расставленных на черепаховой мостовой столиков непослушные белоснежные тарелки и блюдечки. Нет, возможно, они первооткрывателями прилетели сюда давным-давно и расположились на столиках в когда-то успокаивавшем нас с нею беспорядке... Как снежинки на голову, да?

— За какой из столиков мы сядем сегодня? — неуверенно спросил я.

И заискивающе перебил сам себя:

— Ты же хочешь, чтобы мы с тобой сели за столик? В моём кафе? Нет-нет, в нашем, разумеется...

Она ответила, как всегда, не отвечая:

— Ты уже — всё ещё — уверен, что мне этого захочется?

Ревность не полностью прошла, это было

приятно, пульс у меня взмыл летающей тарелкой, и я неуверенно кивнул:

— Когда мы с тобой были уверены, мы молча садились, не выбирая, и заказывали кофе, без сахара. Выбирают те, кто не уверен...

Она ответила — заказала кофе без сахара.

Я поставил свою свечу посередине столика, но свеча не помогала — вокруг было достаточно оранжевого света.

Официантка принесла кофе, поставила его на безнадёжно белоснежное блюдце.

— Ну, а в том, что заслужил этот шарф и эту шляпу, ты уверен? — отпила она свой кофе и спросила, по-прежнему, как тогда, не боясь обжечься. Из нас двоих этого боялся, как оказывалось, только я.

Я размотал шарф, профессионально обмотанный вокруг шеи, положил рядом свою не менее профессиональную шляпу.

Что может быть проще, чем ответить на вопрос, который задаёшь себе каждый день:

— Если я вдруг уверюсь в этом, шарф придётся вернуть. И шляпу тоже... Моя уверенность помешала бы жёлто-оранжевому свету залить черепаховую мостовую...

Что может быть сложнее, чем ответить на вопрос, который сам себе задаёшь по нескольку раз на день?

Между нами что-то бесшумно шуршало, я вслушивался, пытаюсь уловить неслышные звуки, и всё же полностью вслушаться не получалось.

— Ты забыл, что я тоже здесь? — сказала она — или спросила... — Ты не один за нашим столиком.

И тут же добавила:

— Погадаем?

Она, кажется, ошибалась: с нею я был по-прежнему не менее один, чем без неё.

Более, по-моему...

Кофе показался сладким... По крайней мере, она поморщилась:

— Ты не один только тогда, когда ты — один.

И, чтобы не выглядеть ревнивой, перевела разговор на другую тему — так уверенно, как будто это был не разговор, а черепашьи стрелки часов:

— Наше? Послушай, а думал ли ты о посетителях, задумывая своё кафе?

Она положила горячие — всего лишь от кофейной чашки — пальцы на мою кисть, словно хотела убедиться, что пульс у меня всё такой же учащённый, как тогда, когда стрелки не подводили нас, а мы, не сознавая этого, торопились подводить их.

— Я слишком высокого мнения о посетителях, чтобы думать о них тогда, когда что-то для них придумываю. К примеру — кафе,

возникшее неведь откуда и неизвестно почему, словно оранжевый свет пролился откуда ни возмись и залил столики, небрежно расставленные на черепаховой мостовой. К примеру, тарелки, летающие в небе, повисшие в нём — в этой мною же придуманной, изысканно темнеющей репродукции, неотличимой от неведомого, невидимого оригинала. От оригинала, не напоминающего ли тебе колпак всезнающего и всемогущего факира, или того больше — посвящённого в главные тайны звездочёта.

Она прислушалась — наверно, тоже пыталась разгадать разделяющий нас шелест.

— Я слишком высокого мнения о них, чтобы, придумывая моё кафе, думать о тех, — говорил я, уже не обращая внимания на ускользящий от понимания звук, — о тех, кто сядет за эти столики, закажет кофе без сахара, попробует держать свою руку на чьём-то учащённом пульсе... Но как бы громко этот пульс ни бился, они — вы — ты — не услышите его за шелестом собственного голоса... Ваш голос будет шелестеть, мешая услышать всё остальное...

Я перевёл дух и продолжил:

— Если бы я думал о них, у меня не осталось бы фантазии на это остальное... А их — вас и тебя — интересует ведь именно остальное — ты согласна? Иначе зачем я вам?

Подумав, я уточнил, стараясь сделать это не слишком настойчиво:

— И всё же — зачем?

Она улыбнулась, допивая кофе, и снова предложила, или теперь уже не более чем осведомилась:

— Погадаем?...

Я покачал головой: стоит ли гадать о результате, если он уже известен, хотя мы о нём лишь догадываемся? А если и не догадываемся — тем более: стоит ли гадать? Придаст ли нам знание уверенности?

Нас по-прежнему разделял всё тот же неслышный шелест. Поэтому пришлось уточнить:

— Да и хотим ли мы этого? Я имею в виду не только результат, но и знание о нём.

Официантка убирала со столиков казавшиеся на поверку вполне обыденными тарелки и блюдца. И чашки, в которых на ту же поверку совсем не оказалось гущи — а мы-то думали...

Точнее говоря, так думала она...

Звездочёт ушёл, не досчитав своих тарелок в небе и недосчитавшись их на столиках. Вместе с ним ушёл факир, не успевший или не сумевший удивить чудесами, которых мы о него ожидали.

Или не от него? Нас не интересовало авторство...

И она тоже ушла — вместе с ними, или за

ними вслед, и разделившее нас за столиком шуршание исчезло вместе с нею, прошелестев, словно вышедшая из моды юбка по черепашьей мостовой. Словно скатерть, снимаемая со стола. Словно пульсирующая кисть, медленно и неуверенно движущаяся по полотну.

Можно ли быть до конца уверенным?

До конца — пока не пробьёт утренний час на внезапно заторопившихся часах — сколько ни подводи стрелки.

До конца — пока не пробьётся — пока не прольётся — задуманный свет.

И можно ли быть уверенным после?... Откуда взять, кроме всего прочего, ещё и уверенность? Откуда набраться смелости и безрассудства — быть уверенным? Убеждать себя в том, что — уверен...

Всё, что мне оставалось после фиолетово-оранжевой ночи — это оставить вызревший замысел на мостовой и не мешать сиянию затопить ночную террасу. Мне не удавалось и не хотелось думать о посетителях: слишком много спасительного изжелта оранжевого света обрушилось на меня. Как хорошо, что он не подводит.

— Пойду, — прошелестели её слова перед уходом — уже не ревниво, а только устало. — Нелёгкая была ночь, для нас обоих.

Я усмехнулся:

— Для нас?...

И уже не усмехаясь даже про себя, предложил — должно быть, мои слова точно так же прошелестели для неё:

— Можно проводить тебя?

Уходя, она устало возразила, не удивившись предложению:

— А ты знаешь дорогу? Ты ведь отказался гадать...

Я профессионально обмотал шею шарфом, не менее профессионально надвинул шляпу — что бы я делал, если бы пришлось их вернуть...

Всё, что, кроме них, у меня осталось под ставшее светло-голубым утро, когда я решил, что пришла пора рассвети, а свеча стала бесполезной, — всё, что у меня осталось — это блюдце, на котором, обозначилась каёмка цвета посветлевшего факирского колпака.

И ещё остался — ожог на кисти.

Небольшой, но болезненный за двоих.

От её пальцев, наверное...

Ну вот — как же я мог забыть?

Свечки

Облака лежали на небе, словно кусочки яблока на кухонном столе. Как они называются?

Кажется, «белый налив». Мне стало весело: я представила себе, что белый налив упал в воду и получился яблочный компот.

— Куда же подевалась моя трубка?

Правда, немного солёный.

— Я её видела сегодня утром на тумбочке.

Наш корабль плыл мимо острова, похожего на торт, а в торте — праздничные свечки, точь-в-точь деревья на острове. Получился праздничный торт для очень пожилого любителя сладкого.

— О чём ты смеёшься, котёнок?

До чего же я несообразительная! Вода в море под Рождество холодная, как же яблоки могут свариться?

— Думал, уборщица забрала. Солнышко, ты уверена, что на тумбочке?

Я удивилась:

— Неужели она курит трубку?

— Нет, зато её муж, если у неё, конечно, есть муж, наверняка курит. Для себя она стащит что-нибудь дамское.

К солнцу присоединилась луна, и теперь их было двое: впереди — солнце, сзади — луна, а мы — между ними, как в гамаке, натянутом между двумя деревьями у нас на даче. Я немного замёрзла, но уходить не хотелось: расстаться с островом было бы так же обидно, как съесть торт. Нет ничего грустнее съеденного праздничного торта. Пожилой

любитель сладкого наверняка поддержал бы меня...

В воде плавали прозрачные фиолетовые медузы размером с когда-то летавшую тарелку. Одну из них наверняка звали Горгоной. Или даже многих. Говорят, у каждой — по двадцать четыре щупальца. Кто их знает — попробуй пересчитай...

— Здесь вода грязная, поэтому они такие большие. Нечистоты сбрасывают из канализационных труб с острова прямо в море. Я читал проспект.

— А разве он обитаемый?

— К сожалению, обитаемый. Там живут потомки разбойников и их спутниц. Думаю, они не сильно отличаются от своих предков. На этом острове всё построили каторжники и девицы лёгкого поведения. И деревья посадили тоже они — видишь, какие диковатые? Ну, пойдём в ресторан, ты замёрзла. Нам пора праздновать твой юбилей.

— Ты говорил, что не следует напоминать даме о возрасте.

— Ты права, извини! Пойдём?

Мы сели за столик у окна, выходявшего на море.

Острова не было, и медуз тоже. Правда, солнце с луной ещё оставались, но белый налив уже исчез...

Или сварился. Мне снова стало весело. На серебристо-золотистых вилках был вензель — судя

по всему, королевский. Как должно быть приятно быть королём. То есть королевой, конечно. Когда-то, давным-давно, я любила играть в королев и королей. Игра несложная, но захватывающая. Я одновременно служила тремя старинными королевами — не старыми, а старинными, это не одно и то же! — и двумя королями. Тремя королями быть не хотелось, хорошего понемножку, двух им будет предостаточно. Я чуть было не расхохоталась в подтверждение собственной правоты.

— Замените, пожалуйста, вилки, они у вас, как всегда, не очень чистые. Надеюсь, вы не хотите, чтобы дама отравилась, да ещё в собственный день рождения. Не нужно портить праздник, договорились?

Уже не было ни солнца, ни луны. Правда, официант вместе с новыми вилками принёс длинную лимонную свечку. Как только он зажёл её и поставил цветы в вазу — такую же длинную и тонкую, но перламутровую, — пианист сел за рояль — нет, кажется, это было фортепиано, обвёл взглядом зал, чтобы посмотреть, для кого будет играть сегодня, и заиграл сюиту — ми-минор, по-моему. Жаль, что я когда-то бросила музыкальную школу. Могли бы сыграть в четыре руки. Хотя пианисту пришлось бы со мной нелегко — я или забегала бы вперёд, или плелась сзади.

Нужно будет хорошенько потренироваться. Интересно, куда всё-таки денется пламя свечи, когда она догорит? Со свечкой понятно — она просто растает, как несчастные яблочные дольки, а вот пламя?

— Любопытно было бы узнать, какие отметки ему ставили в музыкальной школе. Впрочем, не думаю, что он где-нибудь учился. Ты бы сыграла не хуже, я уверен.

— Нужно было бы порепетировать. Это сложная сюита, она у меня так и не получилась...

Пианист откинулся на спинку стула, люди зааплодировали. Он улыбнулся мне — можно сказать, мы уже были с ним почти знакомы. Я помахала ему рукой. У пианиста в петлице был такой же цветок, как в нашей вазе, только белый, а наши были жёлтые и красные. Пианист улыбнулся и подмигнул мне.

— Во-первых, сколько можно ждать десерт? А во-вторых, если вы тут не хотите неприятностей, предложите своему пианисту подмигивать кому-нибудь другому. И улыбаться тоже.

И в самом деле, зачем он мне подмигивает?

Официант принёс торт со свечками. Поставил передо мной, улыбнулся, как ему положено, и поздравил с днём рождения. Не очень искренне, но всё-таки поздравил. Люди за соседними столиками нехотя похлопали в ладоши. Особенно активно

хлопала и сияла от восторга всеми своими поддельными жемчугами старая морщинистая бабушка в платье столетней давности. И ещё — длинношейй лысоватый пенсионер, который как-то странно на меня поглядывал и улыбался.

Пианист послал мне воздушный поцелуй и сыграл короткую поздравительную мелодию. Потом снова послал воздушный поцелуй. Выглядели его поцелуи довольно сальными, как и улыбки пенсионера, но ничего не поделаешь, пора бы уже привыкнуть.

— Котёнок, с днём рождения! Это самый важный праздник в моей жизни. Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты была счастлива.

Я посмотрела в окно. Моря не осталось, не говоря уже о медузах и об острове. Кусочков белого налива и гамака тоже. Вообще ничего не осталось...

Я была счастлива...

Нужно было начинать есть праздничный торт. Я втянула в себя побольше воздуха. Разве их все задует с одного раза, когда их так много? В прошлый раз было, как полагается, на одну меньше, и всё равно у меня с первого раза не получилось.

Ума не приложу, как я задую все свечи через год — их ведь будет уже одиннадцать.

Выбор

Жара стояла.

Я плыл по течению — без руля, ветрил, с когда-то закомпостированным талоном.

Просыпаешься утром — кажется: длинный-предлинный день впереди, бесконечное утро, где-то за горами — полдень, а вечер — вообще фантазия, обязательно сделаю сегодня что-нибудь значительное. И вот — исчезло утро, испарился день, вылез из всех щелей вечер, приволок с собой на ниточке всю ту же надежду-замухрышку...

Очередное здание, смотрю и не понимаю. То ли чёрным, то ли по белому написано: «Пыточная».

Пыточная.

Люди мы испытанные. Не войду.

Но и пытливые. Войду.

Вошёл. Дверь: «Приём посетителей — круглые сутки. Без перерывов и выходных».

Открыл. Вошёл.

Стол. Над столом портрет. На портрете муха. Под мухой человек. Смотрит испытующе:

— Слушаю вас.

Собираюсь с мыслями. Спрашиваю:

— А зачем вы пытаете?

— Да вот за этим столом и пытаем.

— Странно... А где же дыба, иголки, кованые сапоги, настольная лампа в глаза, селёдка без воды,

смола наконец?

Снисходительно, но незло улыбнулся.

— Мыслите задним числом. Перечисленные вами аксессуары нужны тем, кто пытаться вынужден — ради более высоких — или низких — целей. А нашу организацию никто не вынуждает. Наоборот.

Теряюсь в догадках.

— То есть?

— То есть будем мы пытаться или нет — нам от этого личной или общественной выгоды никакой.

Пытаюсь расслабиться — и не могу.

Муха как муха. Портрет как портрет. Всё — как всё...

Мой собеседник меня озадачил.

— Что, — говорит, — нам толку услышать от вас, что вы христопродавец, оппортунист, что Земля плоская, а шутки вождей — нет? Вы же — пытай вас или не пытай — свергнуть меня всё равно не сможете? Да и народ замутить вам не по карману. И в мутной воде ловить — не по плечу.

Встал. Спугнул муху ненароком. Не со зла — просто крупен.

— Слушаю вас, — попросил я.

Подошёл к окну, постоял.

— Мы пытаем на добровольной основе. Платят нам всего лишь уважением, но зато искренним.

Снова помолчал. Повернулся ко мне.

— Пытаем изошрённо.

— А желающих много?

— Отбою нет. Далеко ещё не всех отпытали.

Это при круглосуточном-то цикле!

Строго помолчал.

— Однако многие не желают. Скажу вам откровенно: поголовная сознательность пока что отсутствует.

Сел.

— Погрязли многие. Ну, а вы как?

Я углубился в размышления. Пришёл к выводу:

— Да мне-то зачем? Я просто погулять вышел и посмотреть зашёл. Смотрю — «Пыточная» написано. Интересно ведь...

— Небось в химчистку или в похоронное бюро без надобности не зашли бы?

И посмотрел на меня — так саркастически...

— Думаете, — осторожно спрашиваю, — у меня есть надобность?...

— Ну конечно! — восклицает. — По вам же видно. Вам без креста — жизнь не в радость. Только чтобы крест этот не снаружи был, а внутри. Чтоб не вас на нём распинали, а он вас распирал. То есть чтобы вы изнутри распинались.

Оробел.

— Кресты через рот заколачиваете?... Вот, значит, как пытаете?...

Снисходительно улыбнулся.

— Шутка ваша натянута и безобидна. Верный признак — запытаем.

Оробел ещё сильнее.

— А чем же вы пытаете?

— Выбором.

Что можно сделать ушами и с ними?
Навострить. Прясть. Хлопать. Чесать за.

Я сделал сразу всё.

Не удивился. Спросил из вежливости:

— Зачем это вы — ушами?

Я покраснел.

— Объясните, пожалуйста.

Улыбнулся по-доброму.

— Ничего сложного. Даём испытуемому возможность выбирать. Ставим, так сказать, перед дилеммой. Дилеммы у нас в ассортименте. Средство испытанное. Пытаемый может выбрать. Или заказать все оптом — но это уже признак особой душевной утончённости.

— А какие дилеммы? — пугаюсь.

— А любые, — успокаивает. — Семья или школа. Знание или сила. Наука или техника. Наука же или жизнь. Та женщина или эта. Или мужчина.

Муха заняла своё насиженное место на портрете.

Муху можно в принципе прогнать. Мысль, даже если она меньше мухи, не прогоняется. И что

интересно: чем больнее, тем настырнее.

Я пропищал:

— Кто вам разрешил разрешать человеку выбирать?

— А кто вам разрешил всё время выбирать? И главное — до конца так и не сделать выбор?

Я вылетел в трубу. Или вышел в дверь — не помню.

Шёл куда глаза глядят — так долго, что они устали от ответственности.

Хотелось признаться. Явиться с повинной. Взять на себя. Донести на себя же. Выдать себя же с головой. Сложить голову. Посыпать её пеплом. Преклонить колени. Принять как должное.

Этого всего хотелось страстно и сразу.

Только бы не выбирать.

Несите вашу смолу. Готовьте розги. Точите когти и зубы. Попытка не пытка. Долго не выдержу — подпишу и отмучаюсь. Всего-то-навсего: стакан смолы да дюжина батогов — раскаюсь, забудусь. Хочется рабства — сладкого, вольного, добровольного.

Увы. Побывавший в пыточной лишён привилегии батога.

Он бредёт с опущенным вместо забрала носом и — выбирает. Он питается собственными сомнениями, которых уже не переваривает. Видит дорожные и электрические столбы в форме

вопросительных знаков, дома — в форме многоточий...

Он не надеется когда-нибудь сделать выбор — и потому постоянно делает его. И потому не сделает никогда.

Ибо для делающего выбор — выбора нет.

И он это знает — иначе не делал бы. Иначе не соорудил бы себе вечную пыточную со всеми удобствами и видом на предметы выбора.

Для выбирающего — выбора нет.

Вот и всё.

Монета

Я снова сел за столик в дальнем углу. Угол действительно был дальним, там я никому не мешал не слушать мою песню. Песен я не пишу, но эта была моей. Женщина в туфлях цвета моего любимого вина пела, кажется, о том, что давно хочет уехать в свою деревню, — хочет, но не может. Я уже знал, почему: этого не знаешь только в самом начале, а потом в конце концов понимаешь. Если для понимания должно пройти долгое, отведённое на песню время, то песня — твоя.

Туфли не были изувечены о дорогу, а ведь в деревню — любую, тут между нею и мной нет противоречий, — в деревню ведёт

одна-единственная с позволения сказать дорога, вся из выбоин и душной пыли. Красный цвет, растворённый в пыли, — уже не красный, ещё не серый, по сути — никакой.

Быть никаким — судьба того, кто никак не решится отправиться в деревню: то ли боится не дойти по запылённой, разбитой дороге, то ли, намного печальнее, — дойти и не узнать свою деревню. Вернее — уже не свою.

У каждого в самом начале есть деревня. Со временем, идущим куда угодно, только не навстречу, тебе кажется, что да, вот он, город, а деревни никакой вроде бы никогда и не было. Потом случается то одно, то другое, и об этом не думаешь, и забываешь — время это умеет — всё, что можно и что, казалось бы, нельзя забыть.

Но ближе к концу песни всё же оказывается, что деревня есть — была, по крайней мере. Ты надеваешь единственные, лучшие туфли цвета недопитого вина и отправляешься в путь. Идёшь по разбитой дороге, а деревня всё не приближается, и есть ли она, и нет ли её, понимаешь всё меньше, и боишься не дойти, а дойти — боишься ещё больше...

Женщина допела мою песню, я допил вино цвета её туфель и пошёл обратно, в город.

Все, кто уходил, бросали ей по монете в копилку. Я не стал бросать свою монету, дал её

женщине. Дал бы две, но у меня такая была одна. Ни во что не конвертируемая, поэтому настоящая. Стоящая, звонкая, уже старинная, отчеканенная в моей деревне, до которой мне не добраться, даже если в течение всей песни идти по запылённой дороге, в башмаках цвета вот уже, кажется, допитого вина.

— Нет-нет, — крикнула мне женщина вдогонку, — ваш бокал ещё полон.

И снова запела мою песню.

Непрерывность

Моему лучшему другу Хулио, с которым мы незнакомы.

Автор.

Никак не удавалось понять, куда ушла эта женщина. Я сновал по комнате, сидел на любимом диване и на любимом же балконе, смотрел на уток — и всё это часами и днями, — но ответа ниоткуда не было.

Итак, она спешила и даже не завязала волосы. Впрочем, с распущенными волосами она выглядела ещё лучше. Они попрощались у входа в маленький домик в горах, который называли хижинкой, и она быстро пошла по тропинке на север. Всё ясно и логично. Но что стало с ней потом? Это

необходимо понять, чтобы рассказ закончился.

Спрошу у лучшего друга, обсудим это с ним. Тем более что как раз сейчас он пишет о, как он думает, первом по важности персонаже нашего с ним рассказа — мужчине с поцарапанной щекой, возлюбленном эффектной брюнетки с распущенными волосами, быстро уходящей в сторону севера по только ей известной тропинке.

— Привет, Хулио! — позвонил я ему, как всегда — не побоюсь ложной нескромности — кстати.

Он сидел за столом у окна, выходящего в сад, и раздумывал о том, куда пойдёт мужчина с поцарапанной щекой, на юг от маленького домика в горах, который он и его красивая подруга называли хижинкой. Окно выходило в парк. За этим столом было легко и писать, и читать, к тому же бархатное кресло было удобным, хотя зелёный цвет меня слегка раздражал. Сигареты лежали под рукой, и рядом была эта серебряная чашечка с серебряной трубкой, названия которых я постоянно забывал, но он уже перестал обижаться на меня за мою плохую память. Развитие сюжета и персонажи постепенно становились понятны — во всяком случае, это касалось мужчины с царапиной на щеке. Совершенно неожиданно зазвонил телефон. Звонил я: мне было необходимо посоветоваться с ним по поводу не самого важного, как он считал,

персонажа. Вот тут-то он из ошибался: персонаж был далеко не второстепенным.

— Привет, Мигель! — приветливо ответил Хулио, заранее зная, кто звонит. — Ты, как всегда, вовремя. Без тебя этот рассказ у меня не получится.

— Вот что значит хороший читатель! — скромно отозвался я о себе.

— Вот что значит хороший автор! — не менее скромно отозвался о себе он.

Нам было приятно, что мы не одиноки в своих оценках.

— Как вообще дела, Хулио? — спросил я, зная, как наши с ним дела и понимая, что он знает причину звонка и, следовательно, понимает его неотложность. Но сразу переходить к делу не хотелось — ни мне, ни ему.

— Ты помнишь, что должен не забыть посмотреть по телевизору чемпионат мира? Ваши выигрывают.

— Не забуду, если доживу. А что, они будут хорошо играть?

— Ну, как тебе сказать... Я ведь болею не за них, ты уж извини, хорошо? Да и один гол ваши всё-таки забьют рукой... Я несколько раз смотрел повтор.

Единственное, чего я могу понять — на каком языке мы с ним никогда не перестанем

разговаривать. Кстати, для него это тоже осталось загадкой. Впрочем, загадок оставалось так много, что эта не только отошла на задний план, но и скрылась за ним. Шутка понравилась нам обоим, мы улыбнулись, и я налил себе красного вина, а он потянул через трубочку эту штуку из серебряной чашечки — как же они называются, в самом деле? Нет, не могу каждый раз задавать ему один и тот же вопрос.

— Почему тебя так волнует эта женщина? — заинтересованно спросил Хулио.

Чтобы заинтриговать его, я решил сначала состричь и только потом ответить по-настоящему.

— Вообще-то женщины меня волнуют больше мужчин, — тонко улыбнулся я тому, что считал красивой остро той. Кажется, Хулио считал иначе.

— Ну, и всё-таки — в чём причина?

Я перестал пытаться тонко остричь и объяснил истинную причину:

— Хулио, меня серьёзно беспокоит её поведение, уж не знаю, почему. Пока не поздно, давай выясним, куда и зачем она пошла.

Он кивнул и снова отпил из своей серебряной чашечки.

— Итак, давай проанализируем события, — начал я. — В нашем рассказе — трое. Один читает книгу, сидя в зелёном бархатном кресле спиной к двери, за столом, у окна, выходящего в его парк, где

растут дубы. Двое других, о которых он читает книгу, встречаются в горном домике — они называют свой домик хижинкой. У мужчины — царапина на щеке: он поранил её, когда пробирался через заросли в хижину. Это важная деталь: благодаря ей, мне, читателю, понятно, в каких условиях встречаются эти двое.

Хулио кивнул. Я продолжал:

— Мужчина и женщина — любовники.

Сначала они ссорятся...

— Молодец, что заметил! — похвалил меня Хулио.

— ... но потом мирятся. Женщина целует своего возлюбленного, пытаясь поцелуями остановить кровь. Но ему не до неё и не до её ласк: он думает только о том, как исполнит давно задуманное дело и для этого пустит в ход кинжал, спрятанный до поры до времени за пазухой. Ему нужно расправиться с человеком, которого он ненавидит. Любовники в деталях обсудили план предстоящей операции. Она была их общее дело, и ты недвусмысленно говоришь об этом.

— Говорю, — подтвердил Хулио. — Вроде бы пока всё понятно, да?

Я отпил красного вина и, подумав, сказал:

— Пока всё понятно. И дальше вроде бы полная ясность. Начало смеркаться, и мужчине нужно было спешить. Любовники ещё раз

обнялись. Женщина побежала по тропинке на север. Её чёрные волосы растрепались на ветру. Она не оборачивалась. А он посмотрел ей вслед и, нащупав кинжал за пазухой, пошёл по тропинке на юг. Возлюбленная всё подробно объяснила ему. Следуя составленному женщиной плану, он пробрался к дому, укрываясь за стволами дубов, прошёл по коридору, дошёл до кабинета и неслышно открыл дверь. За столом, перед окном, выходящим в сад, где росли дубы, спиной к двери, в кресле, обитом зелёным бархатом, сидел человек и читал роман.

Хулио всплеснул руками.

— Всё именно так и было. В чём же проблема?

Я торжествующе и даже загадочно посмотрел на него, но загадочно промолчал.

— Ну, Мигель, не мучай меня неизвестностью! — взмолился он. — Говори сразу!

Тут мне наконец-то удалась тонкая улыбка.

— Ну, а женщина? — спросил я почти шёпотом.

Он решил сделать вид, что ещё не понял, хотя голос всё-таки понизил:

— А что женщина?

— А то, что они сначала ссорились, ты же сам мне это сказал. Верно?

Дуб за окном зашелестел листьями перед дождём.

— Хулио, ты хотел скрыть от меня последствия их ссоры? А ведь всё дело — именно в ней. Точнее — в ссоре и в женщине. Скорее всего эта ссора была не первой... Возможно — последней?

Хулио тихо проговорил, опустив глаза:

— Наверно, ты прав.

— А если я прав, то куда ушла женщина? Неужели ты хочешь скрыть от меня самое главное?

Он отпил из серебряной чашечки и поднял глаза:

— Нет-нет, дело не в этом... Дело в том, что я... Понимаешь, я не знаю... Я ведь и сам не понимаю её.

— Мы обязаны понять, Хулио. Кроме нас с тобой вряд ли кто-нибудь решится сделать это.

Он кивнул и посмотрел в окно, потом на дверь.

Дверь тихо открылась, и мужчина вошёл в кабинет. Хозяин дома по-прежнему сидел в кресле, обитом зелёным бархатом, и читал книгу о том, как мужчина с женщиной расстались у домика в горах, который они называли хижинкой. На столе стояла эта серебряная чашечка с серебряной трубочкой — хоть убей, не помню, как они называются. Мужчина вынул кинжал из-за пазухи. Нам с Хулио

стало даже страшновато при виде этого огромного ножа величиной с маленький меч. Но не успел он замахнуться, как хозяин дома, казалось бы, погружённый в чтение, молниеносным движением выхватил из бокового кармана своей домашней куртки крохотный дамский пистолетик, повернулся и выстрелил в нападающего. Тот рухнул на пол, сжимая в руке свой огромный кинжал.

— А теперь звони в полицию! — спокойно сказала молодая женщина с распущенными чёрными волосами, выходя из-за портьеры. Убийство в целях самообороны — всё как мы спланировали. Не волнуйся, а то выдашь себя. И меня в придачу.

Он улыбнулся и нежно поцеловал её руки. Женщина без особых эмоций приняла поцелуи и, погладив его по щеке, бросила уходя:

— Приходи в хижину, когда всё успокоится.

Потом, не глядя на убитого, вышла из дома и пошла по только ей известной, самой короткой тропинке назад, к домику, который все трое называли хижинкой.

— Вот, оказывается, как это было, — проговорил я.

— Вот, оказывается, как это было, — согласился мой лучший друг Хулио.

Мы помолчали: я пил красное вино, а он — эту штуку из серебряной чашечки.

Потом мы обнялись, простились до следующей встречи, и я пошёл дописывать наш рассказ. Мы знали, что, как всегда, никогда не увидимся, но это не мешало нам неплохо сотрудничать.

Творцы

Деревья собирались менять поцарапанные пятаки на серебряную мелочь. Тёмно-серые, нет — бежево-коричневатые тучи неподвижно плыли по зашторенному небу. Композитор... впрочем, он не смел называться так, потому что мог ли он — сочинить музыку? Она давно уже существовала, и ему, чтобы услышать её, приходилось бродить по склонам бежевых гор, то увязая в снегу, то отряхивая росу с башмаков и брюк, то стараясь не наступить на муравья или красного жучка с чёрной точкой на спинке, стискивая пальцы так, что они теряли чувствительность. Он уходил далеко от дома, от неуютного кресла, от раздражающего клавирина с опущенной крышкой.

Иногда — только иногда — музыка становилась слышна, но это было редким подарком и если, наконец, случилось, нужно было подождать, пока она отзвучит и истинный её создатель позволит поскорее вернуться на тропинку, ведущую домой, ворваться в комнату, поспешно сбросить

верхнюю одежду, рвануть крышку и рухнуть за клавесин.

Бывало, он до крови напрягал слух, но беспорядочная тишина мешала слушать, и он умолял создателя музыки позволить ему — услышать... Однако тот сливался с тишиной и продолжал мучить его всё тем же непостижимым и, казалось, не имевшим смысла молчанием.

Он шёл и слушал, изнемогая от отсутствия слуха, и беспомощно плакал, завидуя тем, кто называл его композитором... нет, сейчас не завидовал, потому что звучание зависти лишило бы слуха, а он был обязан слушать — чтобы услышать, и не мог — не умел — ничего другого.

Один-единственный образ, одна метафора, один намёк помогли бы ему. Он просил сжалиться и показать ему эту метафору, хотя бы мельком, как, должно быть, завсегда трактира показывает красотке уголок вождеденной купюры, и она безропотно и счастливо исполняет все его прихоти... Он свято верил, что эта метафора будет, наконец, ему явлена и музыка рассеет какофонию тишины, — верил, но был до ужаса уверен, что ничего не сможет услышать. И снова придёт домой, весь в никому не видимой крови. Не швырнёт на пол всё ненужное, не рухнет за распахнутый клавесин, а тяжело сядет в ставшее неудобным кресло и будет смотреть в одну расплывшуюся

точку, зная, что музыка осталась там, где была безнадежно давно создана, и — по его вине — никому, никогда не станет доступна.

Ведь если музыку не услышит он, то — как тогда люди будут идти по набережной, вдоль реки, чтобы — сейчас, через считанные часы или минуты — услышать её?

А они — шли. И среди них — мальчик, кажется, лет шестнадцати, ещё не подозревающий, что такая музыка — есть... Люди беспечно шли вдоль реки с названиями, похожими на загадочные женские имена, к площади, на которой, напоминая породистого увальня-пса, уютно уселся собор из красноватого кирпича, с фиолетовой башней, то ли уже спустившейся с неба, то ли ещё только старающейся взлететь.

Люди шли, надеясь услышать музыку, которую ему одному суждено было передать им. Но он по-прежнему был глух — и не понимал, что избран и обречён и не сможет не услышать, поэтому умолял смилостивиться над ним и разогнать засасывающую тишину, — или хотя бы просто помочь — открыть долгожданную, спасительную метафору, чтобы к нему, наконец, вернулся слух, как тогда, в тот вечер... -

...когда капли стучали о подоконник подобно расстроенным клавишам, отзывающимся на небрежные движения пальцев невидимой левой

руки всё того же невидимого музыканта. Он сидел в кресле и, привыкая к глухоте, смотрел в угол опостылевшей комнаты, поверх опостылевшего клавесина, и пил безвкусное вино — такое же пресное и холодное, как дождевые капли, заполнявшие дом навязчивой, оглушающей тишиной. Он смотрел в эту точку, а она расплзалась, становясь каминной решёткой, подсвечником, рамкой, безжалостно сцепившей бежево-снежные склоны гор, деревья, начинающие разменивать поцарапанные медяки на серебряную мелочь, и дорогу — от дома в горы, и иногда с гор домой. Рамка стискивала, сдавливала горы, деревья и дорогу, и он хотел отвести взгляд, но для этого нужно было найти другую точку опоры, а она не находилась, да и не могла найтись. Дверной колокольчик звякнул подступающим к горлу аккордом, как будто лавина ринулась с бежевых склонов, скованных неизменной, непреодолимой рамкой, — готовая ворваться к нему в комнату: композитор всегда приходил без предупреждения, лёгкий и безразличный к мелочам.

— Жарковато сегодня, — бросил композитор, входя. — И дождя не было уже полвечности, — зато стрекозы красивы на удивление. По-прежнему сочиняешь?

— Если бы мне научиться сочинять... — ответил он грустно и невпопад и налил вина.

— Что может быть проще? — рассмеялся композитор, отпивая. — Не поверяй гармонию алгеброй, тем более что в школе она была нашим с тобой нелюбимым предметом. Неужели забыл?

Он посмотрел в окно — на неохотно уходящую в горы и сразу возвращающуюся назад дорогу. Рамка из прочного, как поцарапанная монетная медь, дерева не выпускала наружу.

— Извини за назидательность, — продолжал композитор, — но я скажу — для твоего же блага: стариком чувствуешь себя в детстве и когда в него впадаешь. А от нас с тобой оба эти периода, к счастью, равноудалены — уже и ещё... Впрочем, судя по твоему, как всегда, напряжённому лицу, я снова помешал? Что ж, не заняться ли мне лучше моими стрекозами и бабочками? Погода отличная, сегодня нам с ними навверняка повезёт. А потом, по обыкновению, уж извини за прозу, загляну в трактир.

— Нет-нет, ну что же ты!.. — он сменил тему, одновременно стараясь перекричать безысходную тишину. — Знаешь, мне понравилась твоя новая вещица, такая славная... Там есть одно любопытное место...

— Одно? — спокойно проговорил композитор. В правой руке он держал бокал, а пальцами левой, как клавиши, автоматически перебирал забавный маленький пузырьёк в медной

оправе. — Ну, да ладно, извинение принято. Лучше расскажи, что это был за таинственный незнакомец в чёрной шляпе? Немного мистики вперемешку с романтикой нам никак не помешает — глядишь, ещё что-нибудь придумается, не менее популярное. Ох, прости, вечное, конечно!

Он покачал головой:

— Мне никогда этому не научиться... Поймёшь ли ты меня?... Ну, хорошо, я признаюсь, что...

...комком в горле сжался дверной колокольчик, и он открыл человеку в чёрной широкополой шляпе, с которой, почти беззвучно постукивая, падали дождевые капли. Он открывал эту дверь тысячи раз и снова уходил по своей тропинке. Шёл по ней к горам, смотрел на невиданную птицу, похожую на большую чёрную стрекозу, как будто запущенную им самим в это серое... нет, всё-таки бледно-коричневое небо, на низину, где, как на школьном катке, копошились дети, пытался раздвинуть нераздвигающуюся рамку, надёжно сбитую из казавшегося медным дерева. И боялся подумать о том, что люди уже собрались на брусчатой площади у вальяжно рассеявшегося прямо перед ними собора с непоседливой фиолетовой башней, и ждут, когда их впустят и зазвучит предназначенная им музыка. А среди них — мальчик лет шестнадцати: он всё

нащупывает билет в нагрудном кармане, боится потерять, — и не знает, какую музыку услышит. Просто ему указали дорогу к этому собору, и он пришёл... Пришли все — и ждут.

Ждут — но музыка по-прежнему не слышна, а вместо неё — всё та же бескрайняя, непрекращающаяся тишина. Он старался услышать хотя бы один аккорд, хотя бы один звук, в отчаянии всматривался в людей, греющихся у костра цвета апельсиновой корки, на дома с придавленными снегом крышами, сгорбившиеся у моста через речку... может быть, ту самую?... Он ловил затаившиеся где-то звуки, как парус ловит и не может поймать спрятавшийся глубоко на дне ветер. Поэтому скрип открываемой двери не прозвучал для него диссонансом этой тишине, и человек в чёрной широкополой шляпе не принёс, казалось, никаких перемен, и капли, падающие с его шляпы, не отличались от тех, что глухо звучали за закрытой дверью.

— Возможно, он просто ошибся адресом? — спросил композитор почти безучастно, разглядывая коллекцию диковинных стрекоз и бабочек на висящей над камином книжной полке.

— Он принёс мне заказ...

— Кому же ещё, как не тебе? — невнимательно отозвался композитор, продолжая разглядывать насекомых, которых сам сюда

недавно принёс, и по привычке перебирая пальцами, как клавиши, пузырьёк в медной оправе. Поймав взгляд собеседника, он небрежно подбросил пузырьёк, поймал и усмехнулся:

— Не слишком утончённый предмет, особенно для тонкого ценителя. Что ж поделаешь, не имею права расстаться с подарком, тем более что с дарителем — дарительницей — расстался уже давно. Она у меня была не менее прелестна и заурядна, чем эта вещица, разве что не так полезна в повседневной жизни. Последняя встреча, скажу я тебе, должна быть красивой, даже красивее, чем первая. Мы расстались с нею за бокалом моего любимого вина в моём любимом трактире, где бродячий скрипач насильовал запиленную скрипку, пытаясь сыграть мою старую вещицу... Ты знаешь, я её напеваю, когда мне весело.

— А когда грустно?

— Грустно мне, дорогой гений, не бывает. Грустно только гениям — но не всем же ими быть. Любопытно, когда им бывает весело?... Однако тебе эта тема не слишком интересна, ты озабочен куда более важным делом. Ну, так что же твой загадочный незнакомец? Ты говорил, что он принёс заказ?

— Да... И попросил назвать эту музыку просто и сухо — «Секвенция»...

Композитор пожал плечами, зевнул, отпил

вина и предложил:

— И впрямь прозаично. Назови её поэтичнее — например, «Покой». Он снова отпил и добавил:

— Это то, что тебе нужнее всего.

Покрутил в руке пузырёк, как будто подыгрывая дождевым каплям, и задумчиво добавил:

— И не только тебе, я думаю... Что ж, мы с тобой так и не договорили о главном, — он сел на неудобный стул — нет, удобно прислонился к стене у камина.

— Что именно ты считаешь главным?

— Возможно, — сказал композитор, — наши приоритеты различны, вот я и не решу, кто больше нуждается в помощи: бросающий вызов или те, в кого брошенный вызов летит камнем из пращи. Поможешь найти ответ?

Он задумался, поставил бокал на крышку клавесина и всё-таки ответил:

— Если и бросаю, то — себе самому...

Композитор посуровел и выпрямился:

— Значит, камень бумерангом возвращается к тебе — несчастнейшему из несчастных. А ты не замечаешь, что по дороге туда и обратно он задевает головы тех, кто не по собственному желанию стал для тебя необходимой метафорой? Изображением, настраивающим твой натренированный слух на звуки, которые ты

целыми днями ищешь в этих горах?

— Не только в горах, — попытался он огрызнуться, но композитор продолжал:

— Оставь их в покое, они и без тебя устали на своей охоте...

Он вскочил и чуть было не опрокинул бокал:

— А зачем же они... зачем же они, один за другим... -

— ...один за другим заходят в огромный зал, хочешь ты сказать? Берут у контролёра программку, садятся каждый на своё место, улыбаются, осматриваются, негромко разговаривают. И мальчик лет шестнадцати, переставший, наконец, нащупывать билет в нагрудном кармане, садится в самом неудобном месте, у большущей колонны, из-за которой почти не видна сцена, кажется, почти свисающая с потолка?... Да просто потому, — композитор стиснул пузырьрёк так, что тот треснул бы и вонзился осколками ему в ладонь, если бы не старая, но прочная медная оправка, — да просто потому, что сегодня им лень идти на охоту... или в лесу сегодня всё равно нет дичи... или дорожку замело... или... — да мало ли почему!..

Он не позволил композитору договорить и изо всех сил ударил по закрытой крышке клавесина — даже птица на бежевом дереве вздрогнула:

— Они были, были на охоте! Они охотились